

СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

№

Am

ISSN 0132-1366

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК



СЛАВЯНО ·
· ВЕДЕНИЕ
·



2011



«НАУКА»



СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ



ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

2011

НОЯБРЬ •

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

ДЕКАБРЬ •

*Журнал издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН*

Содержание

СТАТЬИ

<i>Николаев С.Л.</i> (Москва). Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. Верхневолжские (тверские) кривичи	3
<i>Пчелов Е.В.</i> (Москва). «Погоня» и «ездец»: «родство» или сходство?: Балто-славянские параллели в эмблематике Средневековья	20
<i>Виноградова Л.Н.</i> (Москва). «Родила Оленька ребенка, без рук, без ног – одна головенка»: Яйцо в славянской мифологии и магии	34
<i>Агапкина Т.А., Белова О.В.</i> (Москва). Пасхальные яйца в обрядности и фольклоре славян	43
<i>Валенцова М.М.</i> (Москва). Узел в традиционной культуре славян	53
Международная научная конференция «Литературный фактор в культурном пространстве Центральной и Юго-Восточной Европы на рубеже XX–XXI вв.»	60

СООБЩЕНИЯ

Досталь М.Ю. (Москва). О вкладе Самуила Борисовича Бернштейна в развитие истории славяноведения (К столетию со дня рождения ученого)	78
<i>Хорев В.А.</i> (Москва). Заметки на полях книги Марека Радзивона «Ивашкевич. Писатель после катастрофы»	84

ИЗ ИСТОРИИ СЛАВИСТИКИ

<i>Чуркина И.В.</i> (Москва). Словенские историки послевоенного периода	93
---	----

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Макарова И.Ф.</i> А.А. Пригарин. Русские старообрядцы на Дунае: формирование этноконфессиональной общности в конце XVIII – первой половине XIX в.	98
<i>Шерлаимова С.А.</i> J. Brabec Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portrety (1991–2008)	100

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Гришина Р.П.</i> Модернизация vs. война: человек на Балканах накануне и во время Балканских войн 1912–1913 гг.	104
<i>Поньмарева Н.Н., Смольянинова М.Г.</i> Презентация книги «Болгария и Россия (XVIII–XX вв.): взаимопознание»	110

ЮБИЛЕИ

К юбилею Искры Васильевны Чуркиной	113
Толстая С.М. К юбилею Людмилы Николаевны Виноградовой	114
Ослон М.В., Николаев С.Л., Капович Мате. К юбилею Владимира Антоновича Дыбо	116

НЕКРОЛОГИ

Венедиктов Г.К. Памяти Елены Владимировны Чешко (1916–2011).....	119
Памяти Марины Юрьевны Досталь (1947–2011)	121
Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале в 2011 году	123

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

М.А. РОБИНСОН (главный редактор),
Г.К. ВЕНЕДИКТОВ, Р.П. ГРИШИНА, В.И. КОСИК, Г.Ф. МАТВЕЕВ,
В.В. МОЧАЛОВА, К.В. НИКИФОРОВ, С.В. НИКОЛЬСКИЙ, В.Я. ПЕТРУХИН,
Л.А. СОФРОНОВА, А.С. СТЫКАЛИН, Б.Н. ФЛОРЯ, В.А. ХОРЕВ, Т.В. ЦИВЬЯН

А.С. Стыкалин (отв. секретарь)

Заведующие отделами: *И.Е. Адельгейм* (отдел литературоведения),
О.В. Белова (отдел культурологии), *М.М. Валенцова* (отдел лингвистики),
А.С. Стыкалин (отдел истории)

Зак. редакцией *Г.А. Михеева*

Сотрудники редакции: *Л.А. Авакова, Е.В. Пономарева, И.Ю. Веслова*

*Адрес редакции: 119991, Москва, Ленинский пр-т, 32а,
Телефон 8-495-938-01-20
E-mail: zhurslav@mail.ru*

Рукописи принимаются в электронном виде с распечаткой (1 экз.) объемом: статьи не более 40 тыс. знаков, сообщения – до 30 тыс., рецензии – до 20 тыс. знаков. Статьи и сообщения должны сопровождаться краткой аннотацией (200–300 знаков) на русском и английском языках и ключевыми словами (5–7 слов).

Научный аппарат должен быть оформлен в соответствии с правилами, принятыми в журнале. Правила оформления см. на сайте: <http://inslav.ru>. Авторы должны предоставить сведения о степени, должности, электронную почту и контактный телефон.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.



© 2011 г. С. Л. НИКОЛАЕВ

СЛЕДЫ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕННЫХ ДИАЛЕКТОВ В СОВРЕМЕННЫХ ВЕЛИКОРУССКИХ ГОВОРАХ. ВЕРХНЕВОЛЖСКИЕ (ТВЕРСКИЕ) КРИВИЧИ

Владимиру Антоновичу Дыбо к 80-летию

Статья входит в серию работ, посвященных древнерусским диалектам кривичей. Рассматриваются отличительные черты верхневолжского, или тверского, кривичского диалекта, который занимал восточную часть кривичской языковой территории. Анализируются основные признаки древнерусского верхневолжского диалекта и их рефлексy в современных русских говорах.

The article continues a series of works on the Old Russian dialects of the Kriviches. It refers to the research of the Upper Volga (Tver) Krivich dialect, which covered the eastern part of the Krivich linguistic territory. We analyze the distinctive features of the Upper Volga dialect in Old Russian and their modern reflexes in the Russian dialects.

Ключевые слова: историческая диалектология, историческая грамматика, племенные диалекты, тверские говоры

В ряде статей [1; 2; 3] нами были рассмотрены некоторые изоглоссы в русских и белорусских диалектах, которые можно прямо или опосредованно возводить к позднеславянским диалектам восточнославянских племен в составе древнерусской народности, имевших племенной этнолингвистический статус по крайней мере до XIII в. Восточнославянские (= древнерусские) племена вплоть до XII–XIII вв. сохраняли свои этнографические особенности (в частности, модели женских височных колец), в связи с этим нет оснований сомневаться, что в ту эпоху различались и племенные позднеславянские диалекты, потенциально способные трансформироваться в отдельные восточнославянские языки. «Если бы древненовгородское государство продолжало самостоятельное существование, этот процесс (самостоятельного развития древненовгородского диалекта. — С.Н.) должен был бы привести к формированию особого восточнославянского языка, подобно, например, белорусскому или украинскому» [4. С. 7]. История древненовгородского диалекта показывает, что в XII в. он отличался от ростово-суздальского диалекта во многом значительно, чем современные новгородские и восточнорусские говоры между собою, что объясняется продуктивной междиалектной конвергенцией в централизованной Московской Руси.

В [1; 2; 3] были подробно рассмотрены пучки изоглосс, предположительно связанных с диалектами кривичей, а также намечены связи особенностей совре-

Николаев Сергей Львович – д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.

Работа выполнена в рамках программы ОИФН РАН «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей» (проект «Восточнославянский диалектный корпус: праславянское наследие и лингвогеография»).

менных русских говоров с племенными диалектами «славян Верхнего Дона» [3. С. 37–39], вятичей [3. С. 39–42] и древнерусского ростово-суздальского диалекта. На нем говорили потомки славян, заселивших Волго-Клязьминское междуречье в V–VI вв.¹; непосредственными потомками этого древнерусского диалекта являются владимиро-поволжские говоры. В работах [1; 2; 3] была поставлена проблема образования «кривичского пояса» – среднерусской зоны со следами интенсивного смоленско-кривичского влияния, простирающейся в юго-восточном направлении от верхневолжских озер до русских говоров на территории Мордовии [1. С. 137–139].

В [2. С. 188–189] была дана классификация кривичских групп говоров, объединяемых в шесть диалектов, в число которых входят смоленский, полоцкий и западный. Археологически смоленские и полоцкие кривичи были относительно однородны, но, по-видимому, говоры смоленских кривичей, находившихся в тесном контакте с диалектами вятичей и радимичей, заметно отличались от полоцких, которые являлись переходными к западнокривичскому диалекту, на котором в древнерусскую эпоху говорили славяне в северо-западной Белоруссии, на территории с преимущественно балтоязычным населением. «Археологические материалы свидетельствуют, что, как и некоторые другие летописные племена, кривичи являлись прежде всего этнической (этнографической) группой восточного славянства VI–XIII вв. Образование территории Смоленской земли во многом обусловлено историей и расселением смоленских кривичей. В XII в. политическая территория Смоленщины совпадала с этнографической кривичской» [6. С. 242; рис. 1]. Согласно данным археологии, смоленские кривичи населяли и территорию в верхнем течении р. Москвы и ее левых притоков [6. С. 250. Рис. 2]. Приток носителей близких к верхневолжским восточносмоленским кривичских говоров в Тверское Поволжье и в местность к западу от Москвы происходил и позднее: «Вторжения монголо-татар на тверскую территорию не привели к ее запустению и обезлюдению. Дело в том, что с 40-х годов XIII в. усилился натиск Литвы на западные русские земли, и население этих земель стало сдвигаться к востоку в районы Твери, отчасти Москвы» [7. С. 109].

Верхневолжские (тверские) кривичи рано обособились от основного смоленско-полоцкого массива, и диалект, обозначаемый ниже как «диалект верхневолжских кривичей», «диалект тверских кривичей» или «древнетверской диалект», провел ряд специфических инноваций, сохранив при этом ряд архаизмов. Согласно данным археологии, в IX–XIII вв. курганы смоленско-полоцких кривичей компактно располагались вдоль тверского участка Волги [8. Карта 25]. В Волго-Окском междуречье верхневолжские кривичские говоры находились на «ростово-суздальском» субстрате. Современными потомками древнерусского ростово-суздальского диалекта являются владимиро-поволжские говоры. Этноопределяющим признаком славянского племени, говорившего на ростово-суздальском диалекте, являются браслетообразные височные кольца с сомкнутыми (или слегка заходящими) концами [8. С. 194–195; 5. С. 388–397].

Диалект тверских кривичей, представленный в ряде тверских грамот, в тексте «Хожения за три моря» Афанасия Никитина (XV в.)² и в современных говорах

¹ «Носители браслетообразных височных колец с сомкнутыми или заходящими концами, осевшие в западных районах Волго-Окского региона и в междуречье Волги и Клязьмы, занятых балтскими и поволжско-финскими племенами, включили аборигенов в единый этногенетический процесс, и это новообразование стало ядром-основой древнерусского населения Северо-Восточной Руси» [5. С. 394]. См. там же о согласованности результатов археологических и историко-диалектологических исследований в Волго-Клязьминском междуречье.

² Из ранних (XV–XVI вв.) полных списков диалектные особенности наиболее последовательно сохранены в древнейшем Троицком списке, в отличие от Этерова списка не подвергнутому лингвистической редакции переписчика.

тверского ареала, сформировался в контакте с восточноновгородскими и ростово-суздальскими говорами. Основной массив древнетверских изоглосс находился в границах Переяславского княжества в XIII в. и Тверского княжества XIV в. [7. С. 102, 145–198]. Судя по данным диалектологии, говоры, которые можно считать потомками диалекта верхневолжских (тверских) кривичей на их первоначальной территории, располагаются в ареале, ограниченном линией Вышний Волочек – Бежецк – Калезин – Клин – Москва – Сычевка – Ржев – Торжок – Вышний Волочек.

Современные русские говоры, восходящие к древнерусскому верхневолжскому (тверскому) диалекту, образуют ограниченную пучком изоглосс «тверскую зону» между восточноновгородским и ростово-суздальским ареалами на русском Севере. Западная граница тверских изоглосс к северу от Вышнего Волочка идет на северо-северо-восток к Вытегре, а восточная и южная – по р. Сухоне. Тверские изоглоссы компактно расположены между Белоозером и Рыбинским водохранилищем. В северном ареале распространены такие верхневолжские архаизмы, как основы **to*b-, **so*b- в род.-вин. *тоб'а*, *соб'а*, трактовка заударных редуцированных как сильных (*ол'еха*) – явление, отмеченное также для говоров в верховьях Волги.

Население, говорившее на восточнокривичских, в том числе верхневолжских (тверских) кривичских говорах, по-видимому, составляло значительное число жителей древней Москвы, о чем свидетельствует преобладание «кривичских» форм над ростово-суздальскими в языке московских грамот XIV – начала XV вв. [9]³. Характерные особенности восточнокривичских говоров (такие как род.-вин. ед. *тобе*, *собе*; развитие **ь* > *i* перед **-ь-* следующего слога: *Смольнескъ* ~ *Смольиньска*, ср. *д'ин'* < **днь* и т. п. в современных верхневолжских и тверских говорах; неразличение форм род., дат. и местн. п. ед. ч. «мягких» *a*-основ) представлены во всем тексте Лаврентьевской летописи.

В результате относительно древнего переселения носителей верхневолжских говоров в Среднее Поочье в тамошних среднерусских говорах обнаруживаются такие «тверские» черты, как *-x* в род. мн. (без сопутствующего появления гиперкорректного *-φ*), *-jê* в род. ед. местоимений (на фоне *-jo* в окружающих говорах).

Четкой юго-западной границы между тверским диалектом и основным массивом смоленско-кривичских говоров нет. По мере приближения к Смоленску специфические тверские изоглоссы «затухают» и появляются специфические смоленские, такие как смоленский тип рефлексов трех палатализаций велярных согласных. В диалекте собственно смоленских кривичей отчасти до падения редуцированных, т. е. еще в позднепраславянскую эпоху, а по большей части в XIII–XV в., был проведен ряд инноваций, многие из которых являются общими для всего восточнославянского Юго-Запада и которые позволяют альтернативно рассматривать западнорусские смоленские и брянские говоры в рамках диалектологии белорусского и украинского языков. Пучок изоглосс между собственно смоленско-кривичским, с одной стороны, и псковским и верхневолжским ареалами – с другой, в настоящее время проходит приблизительно по изоглоссе дисимилиативного аканья.

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЕ (ТВЕРСКИЕ) ИЗОГЛОССЫ

К пучку изоглосс древнерусского периода, отделяющих диалект верхневолжских (тверских) кривичей от сопредельных древнерусских диалектов, в частности, относятся следующие явления.

³ Влияние на древнемосковский диалект со стороны южных, восходящих в племенному диалекту вятичей, говоров проблематично, так как в памятниках XIV–XV вв. не обнаруживается ни одной специфической «вятичской» черты – в частности, в них нет регулярных форм на *-b* в род. п. от «мягких» основ (*землѣ*, *княгынѣ*), которые использовались в стандартном («киевском») древнерусском языке и сохранились донныне в говорах южной части Московской области.

Инновации:

1. Синкретизм окончаний род., дат. и местн. п. ед. ч. «мягких» *a*-основ: род.=дат.=вин. *земли* при сохранении праслав. оппозиции у «твердых» основ: род. *воды* ~ дат.=местн. *водѣ* – в отличие от новгородского синкретизма род.=дат.=местн. *водѣ*, *землѣ* / *воды*, *земли* и генерализации «твердого» варианта в ростово-суздальском. Общекиривичская (?) инновация.

2. Сохранение интервокального сочетания **tl* только в форме *l*-причастия глагола **čьtq*: *-чкла*, *-чкли* – в восточноновгородском и ростово-суздальском **-tl-* > *-l-* во всех позициях.

3. Нефонетическое *-x* в род. п. мн. ч. (др.-тверск. *содѣмланехъ*, *та|марѣ^x*, совр. *отцѣх*, *трудѣх*, *зайцѣх*). Частичный синкретизм род. и местн. п. мн. ч. в *o*-основах вызвал появление гиперкорректного *-ф* в род. и местн. п. мн. ч. существительных и прилагательных на значительной части тверского ареала (*в домаѣф*, *в/из молодыѣф*, см. комментарий ниже).

4. Основа **tob-*, **sob-* в род. п. *тобѣ/тобѣя*, *собѣ/собѣя* – в отличие от вост.-новг. и рост.-сузд. *тебе* (*тебя*), *себе* (*себя*).

Архаизмы:

1. Окончание род. п. ед. ч. ж. р. местоимений и числительных **-jě* > **-jě* > *-jie* (*-ѣ*) под ударением – в отличие от вост.-новг. *-jě* > *-(j)i* и рост.-сузд. **-jě* > *-jě* (?) > *-je* > *-jo*.

2. Тернарная система рефлексов велярных в позициях трех палатализаций {**k^e* > *č'* ↔ **k^e* > *č* ↔ **k* > *c'*} – в отличие от восточноновгородского «полного цоканья» и стандартной общеславянской системы в ростово-суздальском.

3. Окончание 3 л. презенса *-тъ* < **-тъ* – в отличие от вост.-новг. и рост.-сузд. *-тъ* < **-тъ*.

4. Сохранение чередования заднеязычных с аффрикатами (*к/ц*, *г/з*, *х/с*) в словоизменении – в отличие от восточноновгородского и ростово-суздальского, в которых это чередование, по-видимому, утратилось в дописьменную эпоху.

Некоторые из перечисленных явлений показаны на картах 1 и 2.

Комментарии к изоглоссам

Инновации

1. Синкретизм окончаний род., дат. и местн. п. ед. ч. существительных II склонения с мягкой основой: род.=дат.=местн. *земли* (при сохранении оппозиции род. *воды* дат.=местн. *водѣ*) ([10. Вып. II. Карты 1 и 2]; карта в [11]).

Праславянская система {*воды~водѣ~землѣ~земли*} в современных восточнославянских языках сохранилась, по-видимому, только в закарпатских и лемковских говорах украинского языка. В древнерусских памятниках в чистом виде эта система представлена только в языке древнейших смоленских грамот (см. ниже).

Синкретическая система {*водѣ=водѣ=землѣ=землѣ*} с генерализацией окончания *-ѣ* была характерным признаком древненовгородского городского диалекта [4. С. 95–99]. Эта же система отмечена в нескольких современных говорах псковско-новгородского ареала [11]. По-видимому, более древние, с неполным синкретизмом системы сохранялись на юго-западной периферии Новгородской земли. В частности, в говоре д. Разинино Селижаровского р-на Тверской обл., находящейся рядом с д. Хотошино и городищем новгородского поселения Хотшин:

	окончание		«твердое» склонение	«мягкое» склонение
род.	под ударением	с предлогом	<i>-é</i>	<i>-é</i>
		без предлога	<i>-bǐ</i>	<i>-é</i>
	безударное		<i>-e</i>	<i>-e</i>
дат. и местн.	под ударением		<i>-é</i>	<i>-é</i>
	безударное		<i>-e</i>	<i>-e</i>

В верхневолжских говорах внутри изоглоссы отсутствия окончаний *-т, -т'* 3 л. в глаголах (*несѣ, ходи; несѹ, ходя* [10. Вып. II. Карты 80–81]) отмечена система с генерализацией окончаний «мягкого» склонения: {*водѣ~воды~землѣ~земли*}.

Современная (восточно)новгородская система {*воды=воды=земли=земли*} имеет во всех трех падежах окончание *-ы* в склонении «твердых» и *-и/-ы* в склонении «мягких» основ [11. С. 181]. Эта система сосуществует с более редкой в современных говорах синкретической системой {*води=води=земли=земли*} с генерализованным *-и < *-ѣ*, известной начиная с новгородских берестяных грамот позднего периода [4. С. 96–98].

В псковско-кривичском диалекте (в том числе в древнепсковских берестяных и пергаменных грамотах XIII–XIV вв. [12. С. 214]) представлена система с генерализацией *-ѣ* в «твердых» основах и генерализацией *-и* в «мягких» основах {*водѣ=водѣ~земли=земли*}. По-видимому, эта система восходит к описываемой ниже системе {*воды~водѣ~земли=земли*}, с обобщением окончаний род., дат. и местн. п. не только в «мягком», но и в «твердом» варианте склонения.

«Праславянская» система {*воды~водѣ~землѣ~земли*} представлена в городском диалекте Смоленска XIII в.: она отражена в «Договоре неизвестного князя с Ригою и Готским берегом» [13. С. 10–13] и в списках «Торгового договора Смоленска с Ригою и Готским берегом» 1223–1225, 1229 гг., первой половины XIII в. и в копии первой половины XIV в. [13. С. 20–25, 30–52]. Система {*воды~водѣ~земли=земли*} с сохранением оппозиции падежей в «твердом» склонении и с синкретизмом в «мягком» характерна для белорусских говоров смоленско-полоцкого происхождения, была стандартной в белорусской «простой мове» XV–XVIII вв.⁴ и является литературной белорусской нормой⁵. Такая же система представлена в списке В (готландская редакция) «Торгового договора Смоленска с Ригою и Готским берегом» 1297–1300 гг. [13. С. 25–30].

Система {*воды~водѣ~земли=земли*} представлена в старейшем памятнике тверского диалекта «Хождение за три моря» Афанасия Никитина: в близком к протографу Троицком списке у «мягких» основ устойчивое окончание *-и* в род., дат. и местн. п. [18. С. 11–30]. В предположительно московской по языку Софийской 1-й летописи старшего извода (рукопись XV в., [19]), в частности, в тексте «Повести временных лет», представлена последовательная система {*воды~водѣ~земли=земли*}⁶. В московских грамотах XIV–XV вв. формы род. п. «мягкого» склонения всегда имеют окончание *-и*, а дат. и местн. на *-и* и на *-ѣ* сосуществуют, при этом численное соотношение форм на *-и* и на *-ѣ* изменяется от XIV к XV в. в пользу последнего (см. тексты в [9]).

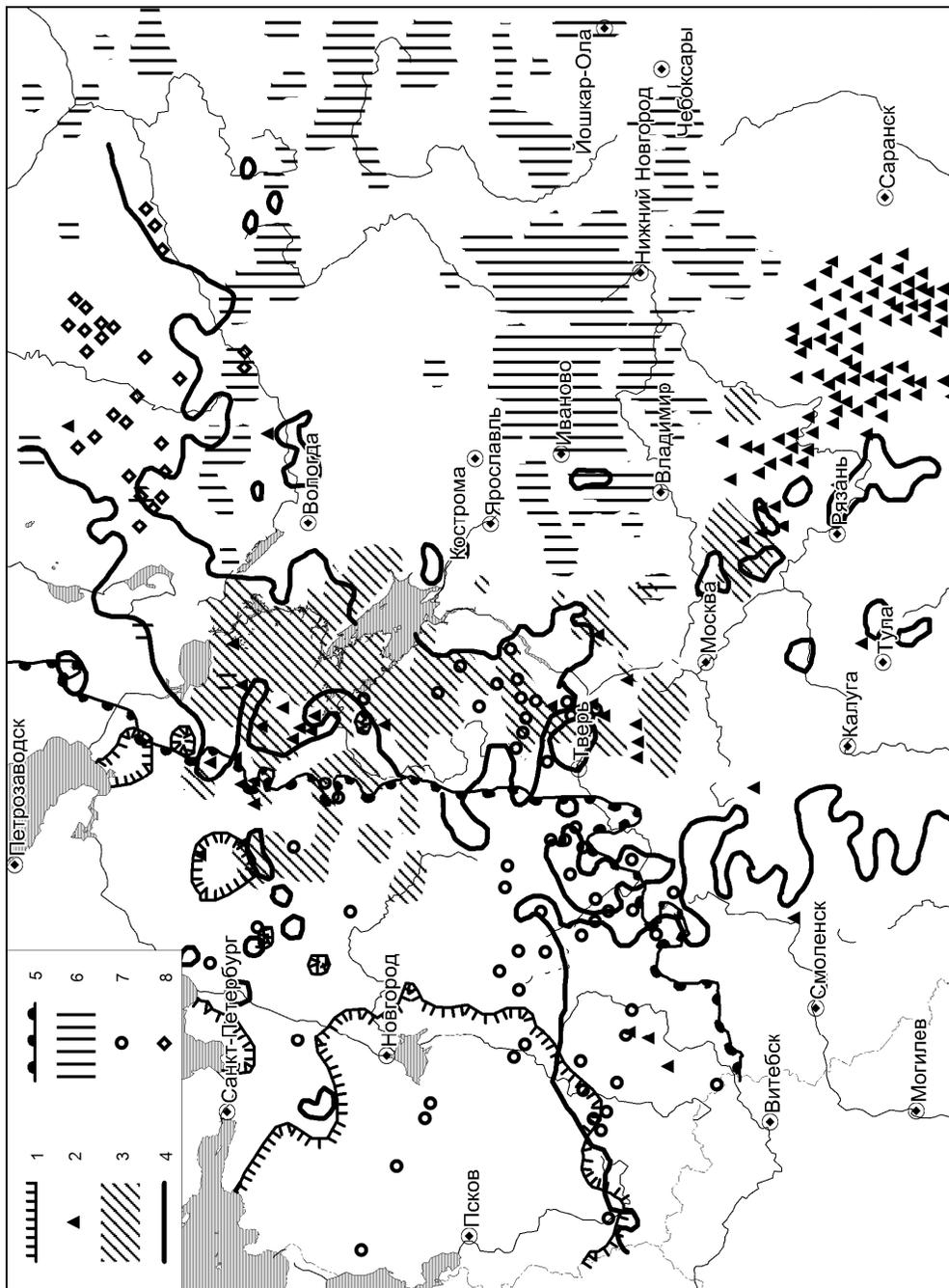
⁴ См., например, тексты в [14].

⁵ В смоленско-кривичских по происхождению говорах также отмечены несколько систем со сложным распределением *-ы/-и* и *-ѣ*, возникшие в результате перераспределения окончаний «твердого» и «мягкого» вариантов склонения [15; 16; 11; 17]. Синкретизм падежей «мягкого» варианта характерен также для восточнославянских диалектов к югу и юго-западу от кривичского ареала: система {*воды~водѣ~землѣ=землѣ*}, в которой, по контрасту к «кривичской», в «мягком» типе склонения генерализовалось генетивное *-ѣ*; она распространена в украинских говорах, в частности, является украинской литературной нормой.

⁶ За исключением немногих архаических форм на *-ѣ* в род. п., по-видимому, перенесенных из протографа ПВЛ, ср. *от Малушѣ ключици* (л. 47). Характерной чертой древнетверского (судя по тверским грамотам и «Хожению» Афанасия Никитина) и древнемосковского диалектов (судя по грамотам начиная с XIV в.) является окончание *-ѣхъ* в «мягких» основах м. р., заимствованное из «твердых» основ. В местн. п. ед. ч. «мягких» *о*-основ в тверских и московских памятниках отмечены как старые формы на *-и*, так и новые на *-ѣ* (*на конѣ, въ сельцѣ*). Старое окончание *-ѣ* в вин. п. мн. ч. «мягких» *о*-основ и в им.-вин. п. мн. ч. *а*-основ в древнетверском и древнемосковском диалектах последовательно заменено вторичным *-и* по аналогии с «твердыми» основами: *кони* вместо **конѣ*, *земли* вместо **землѣ*.

Карта 1.

1. Др.-псковская система палатализации заднеязычных (без аффрикации) в позиции II палатализации)
2. Окончания *-ох*, *-ех* род. п. мн. ч. (*дворох; зайцах*)
3. Окончание *-ф* в род. и местн. мн. ч. (*домаф, молдыф*)
4. Рефлекс *-jě > -jě* в окончании род. п. ед. ч. ж. р. местоимений и числительных (*еѣ/еѣ, самоѣ-ѣ, оудѣ-ѣ*)
5. Восточная и южная граница распространения генерализованного окончания *-ы/-и* в род., дат. и местн. п. ед. ч. *а*-основ (*воды-воды-воды; земли-земли-земли*)
6. Изоглосса вторичного *-ѣ* в *кричѣ-ѣ, дышѣ-ѣ, дичѣ-ѣ* и т. п. (*кричѣл, -ла, дышѣл, -ла, одичѣл, -ла* и т. п.)
7. Рефлекс *-л/л* < **-л* в **-ыла, *-ыли* (*прочлѣ, прочли* и т. д.)
8. Рефлекс *оѣ ѣха* < **оѣха*



Карта 2.

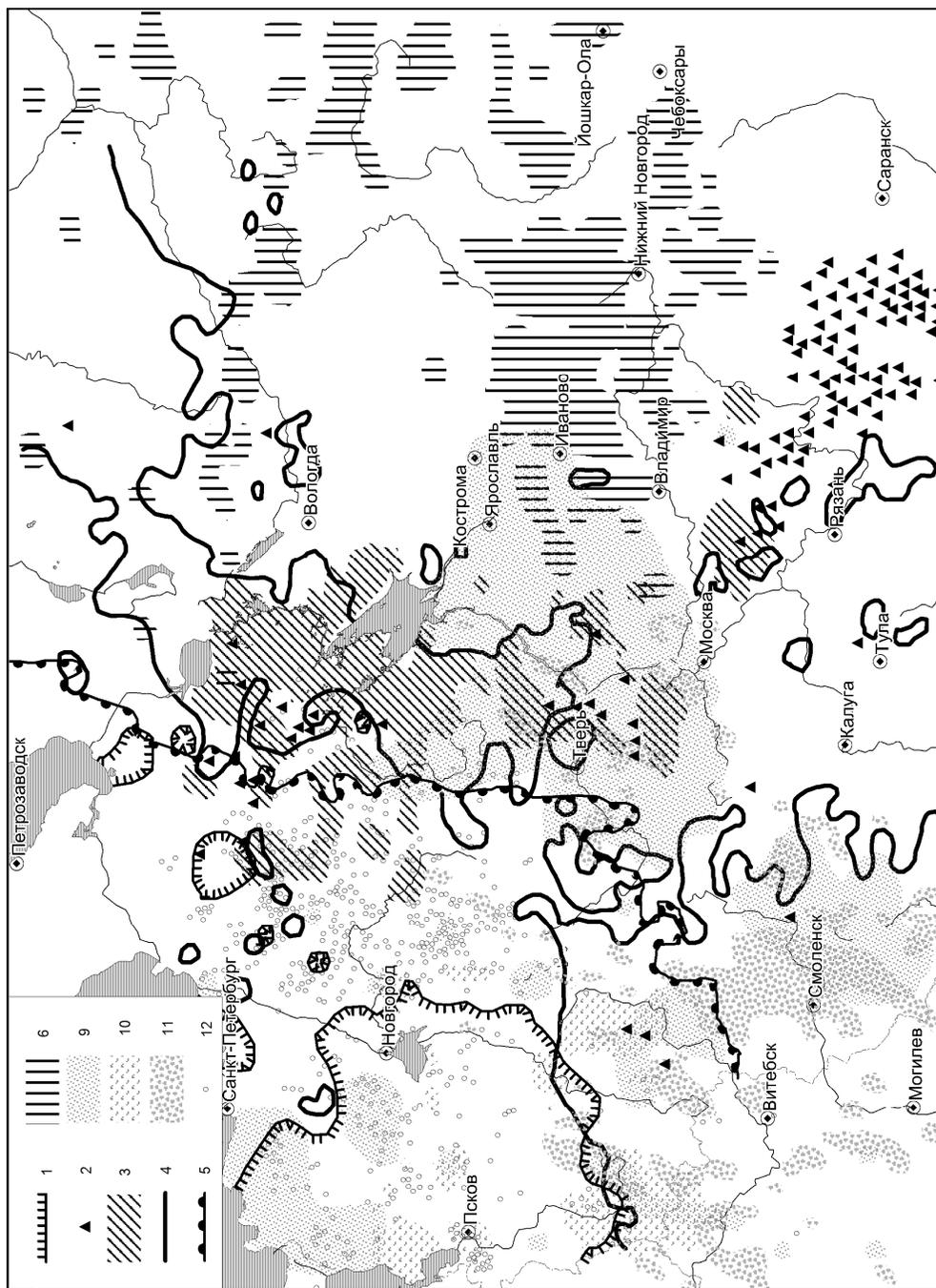
1-6 — см. карту 1

9. Распространение бра-
летообразных (незавязан-
ных височных колец [8.
Карта 36]

10. Область расселения
кривичей псковских в IX-
XII вв. (по [8. Карта 26])

11. Курганы смоленско-
полоцких кривичей IX-
XIII вв. (по [8. Карта 25])

12. Распространение ново-
родских жалыников (по [8.
Карта 32])



По всему тексту Лаврентьевской летописи [20] в род. и дат.–местн. п. ед. ч. «мягких» *a*-основ встречаются окончания *-ѣ* и *-и*; другими словами, как и в других верхневолжских системах, в Лаврентьевской летописи осуществлен синкретизм окончаний род., дат. и местн. падежей «мягких» *a*-основ⁷.

Начиная с XVI в. в московском диалекте преобладает система {воды~водѣ=земли~землѣ}, см. тексты в [9]. Эта система, в которой «мягкие» *a*-основы имеют окончания «твердых» (также «твердое» окончание используется в местн. п. *o*-основ, на конѣ вместо *на кони), широко распространена в говорах ростово-суздальского происхождения к востоку и северо-востоку от Москвы и является русской литературной нормой. Эта система стала характерной для московского диалекта и в дальнейшем русского литературного языка наряду с другими ростово-суздальскими признаками, такими как «твердое» окончание *-тъ* в 3 л. наст.–буд. вр., *ѣ > *i* в сидѣти, сидитъ, дита, *-ы-* вместо *-и-* в крыло.

Судя по рефлексу **-ѣ* в род., дат. и местн. п. *i*-основ (нет пече, к пече, на пече [10. Вып. II. Карты 4–7]), в обширном ареале к юго-востоку от Москвы в говорах, генетически связанных с диалектом «славян Верхнего Дона», достаточно рано произошла генерализация окончания род. п. *-ѣ* в «мягких» *a*-основах и сформировалась система {воды~водѣ~землѣ=землѣ}⁸. Эта же система характерна для полесских белорусских и украинских, слобожанских, подольских и волынских украинских говоров и является украинской литературной нормой: вост.-полесск. род. *vodŭ*, дат. и местн. *vod'jě* ~ род. *zeml'jě*, дат. и местн. *zeml'jě*; укр. литерат. род. *води*, дат. и местн. *воді* ~ род. *землі*, дат. и местн. *землі*.

система	«твердые» основы		«мягкие» основы	
	род. ед.	дат., местн. ед.	род. ед.	дат., местн. ед.
праславянская	*vody	*vodě	*zemljě	*zemlji
древнесмоленская, карпатоукраинская	воды	водѣ	землѣ	земли
древненовгородская	водѣ	водѣ	землѣ	землѣ
восточноновгородская	воды	воды	земли	земли
псковская	водѣ	водѣ	земли	земли
Лаврентьевская летопись	воды	водѣ	земли/землѣ	земли/землѣ
белорусская, смоленско-кривичская, верхневолжская, древнетверская, древнемосковская	воды	водѣ	земли	земли
юго-восточная русская, полесская укр. и белор., волынская и литер. украинская	воды	водѣ	землѣ	землѣ
ростово-суздальская, литер. русская	воды	водѣ	земли	землѣ

⁷ По всему тексту Лаврентьевской летописи также представлена вариативность использования окончания *-ѣ/-и* в им.-вин. п. мн. ч. *a*-основ (землѣ/земли) и вин. п. мн. ч. *o*-основ (конѣ/кони), имеющих окончание *-и* в древнетверском, древнемосковском и в современных восточнорусских говорах.

⁸ В современных южнорусских говорах широко представлены системы, осложненные зависимостью выбора окончания от наличия/отсутствия предлога, см. описание одной из таких систем в говоре д. Огорь Жиздринского р-на Калужской обл. в [21. С. 361–372].

2. Сохранение сочетания согласных на месте *tl в форме l-причастия глагола *čьtq ([22], ответы на вопрос 67о).

Рефлексы *čьtla > -чкла, *čьtli > -чкли представлены не только в говорах псковско-новгородского ареала (что ожидается из-за распространенного там рефлекса *-tl- > -кл-), но и на северо-восточной периферии смоленского диалекта, а также в регионе между Бежецком и Клином, включая Тверь, и спорадически в северных говорах на территории вторичного расселения (см. материалы ДАРЯ в [2. С. 191–192]). Кроме сохранения -кл- в специфической позиции -чкл- < -čьtl-, в смоленском и тверском диалектах не известен интервокальный рефлекс *-tl- > -кл-/гл-, характерный для псковско-западноновгородского ареала. В современных говорах верхневолжского (тверского) ареала, в отличие от смоленского, рефлекс кл- < *tl- не обнаружен [2. С. 190–198]. Впрочем, не исключено, что диалектные формы неточной локализации *клѣшка* ‘игла наподобие иглы для плетения сетей для привязывания снопов к жердям на кровле’ Верхнее Поволжье, Моск., Влад. [24. Вып. 13. С. 292] < *tleščka ‘раздвоенная палочка’ (чеш. *dlaška*); *кланы* ‘руки и ноги’ Нижегород. [24. Вып. 13. С. 265] < *tlapa ‘лапа’ (чеш. *tlapa*, словц. *dlapa*) происходят из диалекта верхневолжских кривичей.

3. Окончание -x в род. п. мн. ч. (*отцо́х, трудо́х, зайце́х* и т. п.) [10. Вып. II. Карта 39].

Речь идет о нефонетической замене -ов/-ев род. п. мн. ч. на *-овь в склонении существительных м. р. окончанием -ох/-ех, компонент -x в котором заимствован из древнерусских окончаний местн. п. мн. ч. -ѣхъ, -ихъ, -ьхъ, -ьхъ. На территории старого расселения смоленско-полоцких кривичей такое явление отмечено в говорах по верхнему течению Западной Двины. За пределами «кривичской» территории окончание -ох имеет широкое распространение, в частности, в Тверском Поволжье и обширном диалектном массиве в междуречье Мологи и Суды, т. е. в ареале рассматриваемых здесь тверских изоглосс⁹.

В современных русских говорах, в которых отмечено окончание -ох род. п. мн. ч., в качестве окончания местн. п. мн. ч. используется -ах. По-видимому, в тверском регионе окончание -ѣхъ (-ехъ) во мн. ч. существительных мужского рода II склонения было живым сравнительно недавно. В частности, в «Хожении за три моря» Афанасия Никитина (конец XV в.) основы м. р. II склонения не присоединяли вторичных окончаний дат. -амъ, тв. -ами, местн. -ахъ, отмечены только -омъ/-емъ, -ы/-и, -ѣхъ¹⁰.

Есть основания полагать, что одной из позиций смешения окончаний этих падежей был мягкий вариант склонения о-основ, в котором безударное -ѣхъ (-ехъ) местн. п. стало заменять род. п. мн. ч., первоначально в предложных конструкциях. Примером смешения форм род. и местн. п. мн. ч. в древнерусском может служить архаичная система московской рукописи конца XVI в. (датирована 1557 г.) «Слова Максима Грека» (РГБ. Ф. 310. № 487), говор 1-го и 2-го писцов которой на основании фонетических и акцентуационных особенностей может быть локализован в ареале от Москвы до линии Торжок – Тверь – Кашин: *пáче ... содóмлнехъ* 476, род. п. мн. ч. *ѡбычае^x* 65б, *распéнии^x* || *шодѣ^x* 70а–б, *оу безвѣрны^x* *та|тарѣ^x* 71б и т. д. Взаимоуподоблению форм род. и местн. п. мн. ч. в других основах могла способствовать аналогия со склонением местоимений, числительных и прилагательных, где эти падежные формы омонимичны.

⁹ Еще один крупный массив говоров с -x в род. п. располагается на юго-востоке «кривичского пояса» от Касимова на юг до Моршанска и на восток до среднего течения Мокши.

¹⁰ В отличие от о-основ м. р., основы ср. р., имевшие мн. ч. на *-а, по-видимому, могли образовывать косвенные падежи от а-основы уже в позднем праславянском.

Более широко, чем окончание *-ox/-ex* в род. п. мн. ч., в говорах представлено окончание *-[ф]* в род. и местн. п. мн. ч. существительных и прилагательных: *в до-ма́[ф]*, *на местá[ф]*, *в я́года[ф]*; *без/в молоды́[ф]*, *из/в бéлы[ф]* [10. Вып. II. Карта 39]. Как показывает картографирование, ареал синкретического *-ф* в род.–местн. мн. в общем совпадает с ареалом синкретического *-x* в тех же падежах, что, ввиду явной архаичности *x*-синкретизма, может говорить о замене *-x* на *-ф* в результате гиперкоррекции. Отметим, что в говорах, имеющих сонантический рефлекс слав. **-vъ > [w]*, *[v]*, отмечен только род. мн. на *-ox/-ex*, тогда как «*ф*-синкретизм» характерен только для говоров с фонетическим развитием **-vъ > [f]*.

Окончание род. п. *-ox/-ex* в склонении существительных II скл. является одним из отличительных признаков юго-восточной части «кривичского пояса» – в говорах Мещеры и в ареале между Окой и Мокшей, см. [1. С. 139].

4. Основа **tob-*, **sob-* в род. п.: *тобé/тоб́я*, *собé/соб́я* [10. Вып. II. Карта 61].

Основа **tob-*, **sob-* не только в твор. *тобою/тобой*, *собою/собой* и дат. и местн. п. *тобé*, *собé*, но и в род. *тобé/тоб́я*, *собé/соб́я* в говорах к северу от Москвы отмечена, с одной стороны, в отдельных псковских, западноновгородских и торопецко-верхневолжских, и с другой – в ареале тверских изоглосс от Торжка и Углича до Каргополя и Вельска.

В говорах восточноновгородского и ростово-суздальского ареалов эти формы не используются (за исключением единичных говоров, происхождение которых неизвестно). Формы *тобе/тоба*, *собе/соба* регулярно употребляются в древнетверском «Хожении» Афанасия Никитина, в тверских и московских грамотах XIV–XV вв. Род.–вин. ед. *тобе*, *собе* характерен также для всего текста Лаврентьевской летописи. В древнерусских ростово-суздальском и новгородском диалектах род. п. с основами *тоб-*, *соб-* не отмечен [4. С. 130–131].

Архаизмы

1. Окончание род. п. ед. ч. ж. р. местоимений и числительных **-jě > *-jě > -jě* [10. Вып. II. Карты 64–67, 93].

Находящиеся под ударением рефлексы окончания **-jě* в русских говорах широко представлены в формах род. п. ед. ч. ж. р. **jejě*, **njejě* (в большей части говоров эти формы используются и для вин. п. ед. ч.) и **tojě*, **tujě*; реже компонент **-jě* находится под ударением в формах род. п. от других местоимений и числительных: **samojě*, **ednojě*.

В восточноновгородских говорах представлен род. п. ед. ч. *jej* (*n'ej*), *toj*, *samój*, *odnoj* с ильменско-словенским **-jě > *-jě > *-jě > -(j)i*, ср. род. п. ед. ч. ж. р. *ei* в ранней берестяной грамоте № 531. В новгородской Синодальной 1-й летописи местоименным (не ц.-слав.) окончанием является *-ou/-eu* [4. С. 126–127].

В смоленско-кривичском и тверском диалектах местоименным окончанием являлось ударное *-jě /jê/ < *-jě : jejě* (*n'ejě*), *tojě*, *samojě*, *odnojě* (в говорах с различением «двух *e*» рефлекс ятя – *jejě*, *n'ejě*, также *tojě*, *samojě*), такое же окончание представлено в западных и юго-западных русских, во всех украинских и белорусских говорах.

В северо-восточных говорах между Сухоной и Волгой, в восточных говорах (имеющих ростово-суздальское происхождение) и в юго-восточных говорах (восходящих к племенным диалектам «славян Верхнего Дона» и вятичей) окончание род. п. под ударением имеет рефлекс **-jě > *-jě (?)¹¹ > *-je > -jo: jejó* (*n'ejó*), так-

¹¹ Ср. развитие **-se > *-se > -c'o* в возвратной частице в этом же ареале [10. Вып. II. Карты 105, 106].

же *tojó*, *samojó* [10. Вып. II. Карта 67]. По-видимому, такое же развитие происходило в безударных слогах, судя по рефлексу омонимичного окончания им.-вин. п. мн. ч. **-jě* > **-ję* (?) > **-je* > *-jo* (> *-ja* в говорах с заударным аканьем): *молоды́*[jo], *малоды́*[ja], *малады́*[ja] [10. Вып. II. Карты 49–50].

2. Тернарная система рефлексов заднеязычных в позициях трех палатализаций.

В южно- и западнославянских языках, в литературных украинском, белорусском и русском языках представлена бинарная система оппозиции рефлексов трех палатализаций заднеязычных { **k^е* > *č'* ⇔ **k^е* + **i^к* > *с'*; **x^е* > *š'* ⇔ **x^е* + **i^х* > *s'*}: др.-рус. *чистьъ*, *шатати са*; *цѣльъ*, *сѣрьъ*; *отцьъ*, *вьсьъ*; чеш. *čistý*, *šátati*; *celý*, *šerý*; *otec*, др.-чеш. *veš*.

Среди восточнославянских диалектов представлены системы с другой комбинацией рефлексов палатализаций, а также тернарная система с оппозицией всех трех рефлексов.

Древнепсковская система «без второй палатализации» (в действительности без аффрикатизации палатальных смычных) { **k^е* + **i^к* > *с'* ⇔ **k^е* > *k̂*; **x^е* + **i^х* > *ŝ/s'* ⇔ **k^е* > *k̂*; **x^е* > *ŝ*} широко известна из псковско-новгородского ареала. В древнепсковском и в западном древненовгородском диалектах велярные в позиции II прогрессивной палатализации (*k^е*-палатализации) имеют велярные рефлексы – по материалам берестяных грамот, рукописей и топонимики: др.-новг. *кѣле*, *крѣкъвь*, *хѣрь*, *Хѣрово*, *Хѣдово* [4. С. 41–45]. Сводки материалов по *к'-*, *т'-* [*k̂-*] на месте общеслав. **с-* см. [25; 26; 1]. Слав. **кѣрь* = **сѣрь* ‘цеп’ и ‘принадлежность ткацкого станка’ (лексически разошедшиеся однокоренные производные от корня **кѣр-*), **кѣрати* = **сѣрати*: *к'еп*, *к'епок*, *к'еп'еу* и т. п. [22; 27; 24]; *кѣпаты* [27]; **кѣвъ* = **сѣвъ* ‘трубка, цевка’: *к'евь*, *к'евка*, *к'ев'ина/т'ев'ина*, *к'ев'о/т'ев'о* и т. д. [22; 27; 24]; **кѣдити* ‘цедить’ и **кѣдъ* ‘процеженный настой’: *кѣдѣть*, *кѣдѣшка*, *кѣдѣлка* [22; 27], *кеж* [24], *кѣша* [27].

В псковских и новгородских говорах также отмечена *новопсковская* система с «аффрикатным» отражением праславянских заднеязычных в позиции II палатализации: { **k^е* + **i^к* > *с'* ⇔ **k^е* > *č̂*; **x^е* + **i^х* > *s'* ⇔ **k^е* > *k̂*; **x^е* > *s*}. Например, [22. Сев.-Зап. 26] *часы*, *в'ецо*, *аконцал*, *в'ецер*, *цытайут*, *цетыр'е* ⇔ *ч'ельй*, *ч'ело* ⇔ *афи́а*, *жайц*, *каницом*, *ат'еу*, *агури́оф*, *пал'цы*, *сонце*, *палат'енца*, *м'ел'ница* [1. С. 146–147. Карта на с. 126–127]. Эта система, вероятно, является локальным развитием разобранный выше древнепсковской системы. Новопсковскую систему также можно предполагать для одного из вариантов языка Новгорода начиная с XII в., что следует из анализа графической системы новгородских рукописей, сделанного В. М. Живовым [28]¹².

В западнорусских говорах¹³, на северной смоленско-кривичской периферии, включая ареал между верховьями Ловати и Волги, отмечена *смоленская* система, которая схематично изображается как { **k^е* + **i^к* > *č'* ⇔ **i^к* > *с'*; **x^е* + **i^х* > *š'* ⇔ **i^х* > *s'*}. В этой системе совпадают результаты I и II палатализаций. Рефлексом **k* в позиции I и II палатализаций является шипящая аффриката **č'* (> *ч'*, *ч*). В позиции III палатализации ей была противопоставлена мягкая (судя по

¹² В. М. Живов показал, что для некоторых новгородских писцов было нерелевантным различие рефлексов **k* в позиции I и III палатализации (здесь писалось *ц* или *ч* вне зависимости от этимологии), тогда как рефлекс **k* в позиции II палатализации записывался в виде *ц*. В. М. Живов предположил, что эта буква использовалась для передачи живого произношения [к] на месте праслав. **k* в позиции II палатализации. Однако более вероятным кажется предположение, что описанная В. М. Живовым графическая система отражала развитие древненовгородской системы в части говоров, в которых произошла аффрикатизация палатального *k̂* > *č̂*.

¹³ Данные сопредельных северо-восточных белорусских говоров нам неизвестны.

отсутствию перехода $e > 'o$ в таких формах, как *am'éc, iaiéc, чап'éc*) свистящая аффриката *с'. Например, [22. Зап. 144] *н'ич'авó, унуч'ек, ўскóч'ит', мал'ц'ик* ⇔ *ч'еркѣв* ⇔ *ул'ица, кур'ица, нь канцѣ, зѣиц* [1. С. 145. Карта на с. 126–127]. В эту систему органично включается рефлекс *хѣ > *š' в смоленско-, полоцко- и западнокривичском ареалах, *хѣгъ > *шеры(i)* [1]¹⁴.

Помимо стандартной бинарной системы рефлексации *к в позициях «трех палатализаций» (I палат. ⇔ II+III палат., *чистый* ⇔ *целый, отец*), в великорусских говорах распространена *тернарная система*, обычно выступающая в виде противопоставления /č'/ или /š'/ (в позиции I палатализации) ~ /с'/ (из *к в позиции II палатализации) ~ с (в позиции III палатализации). Схематически тернарная система изображается как { *k^е > č' ⇔ *k^е > š' ⇔ *k > с'; *x^е > š' ⇔ *x^е > *š ⇔ *x > s' } : *ч'истый, широко* ⇔ *ц'ельи, с'ерыи/шерыи* ⇔ *от'ец* (с аффрикацией, отвердевшей после развития $e > 'o$), *весь*. Тернарные системы зафиксированы в говорах в верховьях Днепра; в долине р. Угры; между Можайском и Москвой; в говорах между Старицей и Клином; у Вельегонска – иными словами, в центре и на восточной периферии смоленско-кривичского и спорадически на территории тверского диалекта. Рефлексами *k^е и *k в говорах являются /č/ (ч/ч') и /с/ (ц). Тернарные системы известны для ряда в юго-восточных говорах «верхнедонского» происхождения [1. С. 151–152].

Основные системы рефлексов веларных в позиции трех палатализаций см. в Приложении 3.

3. Окончание 3 л. презенса *-ть [10. Вып. II. Карта 79].

В говорах, имеющих в своей основе кривичский племенной диалект, употребляется или недавно употреблялось «мягкое» окончание *-ть* (*несеть, несуть*), противопоставленное ростово-суздальскому «твердому» *-ть* (*несеть, несуть*). Уже в историческое время северо-восточная граница «мягкого» окончания с линии Гдов – Новгород – Вышний Волочек – Калязин сдвинулась к юго-востоку и теперь проходит по линии Псков – Старая Русса – Осташков – Клин. Судя по преобладанию *-ть* над *-ть* в тексте «Хожения» Афанасия Никитина, «мягкое» окончание было первоначально свойственно древнерусским говорам «тверской зоны». На это указывает и наличие *-ть* в современных говорах между Клином и Москвой. «Мягкое» *-ть* характерно для московских грамот XIV – начала XV в., а также для текста Лаврентьевской летописи.

Только «мягкое» окончание употреблялось в древненовгородском диалекте вплоть до XII в. Однако восточноновгородским (по-видимому, еще ильменско-словенским) окончанием было именно «твердое» *-ть*, примеры на которое в берестяных грамотах отмечаются с XIV в. [4. С. 138], т. е. с эпохи решительной «ориентализации» новгородского койне. В современных восточноновгородских говорах «мягкое» окончание не отмечено. «Твердое» окончание характерно также для восточнорусских говоров ростово-суздальского происхождения к северо-востоку от линии Москва – Касимов – Нижний Ломов.

Следующая черта древнетверского диалекта сохранилась только в памятниках письменности:

4. Сохранение чередования заднеязычных с аффрикатами (к/ц, г/з, х/с) в словоизменении.

¹⁴ Видимо, смоленская система отражена в графике ряда смоленских рукописей, где в позиции I и II палатализации встречаются (приблизительно поровну) ц и ч, тогда как в позиции III палатализации – почти исключительно ц [28. С. 290].

В современных русских говорах практически утрачено чередование заднеязычных с аффрикатами (*к/ц, г/з, х/с*) в словоизменении, сохраненное белорусскими говорами, восходящими к смоленско-кривичскому диалекту. Отсутствие этого чередования в псковско-новгородском ареале – на восток до «тверского пояса» – объясняется отсутствием этого чередования в древнем псковско-(западно)новгородском языке [4. С. 42–43]. Судя по поздним новгородским берестяным грамотам, словоизменительная модель без чередования была унаследована новгородским койне, в котором начиная с XIV в. превалировали восточноновгородские формы. В древнетверском диалекте конца XV в., судя по тексту «Хождения за три моря» Афанасия Никитина, чередование *к/ц, г/з, х/с* регулярно происходило, если заднеязычный не находился в сочетании с другими согласными – по Троицкому списку: *на дорозѣ* 378б; *в руцѣ* 375а, 378а; *в ... орѣсе^x* 373а; *в доспѣсѣ* 385а, *в(ѣ) доспѣсе^x* 375а, 376б 377а, 385б, 389а, *в(ѣ) доспѣсех^x* 375а (2х), 384б, 387а, б, 388а, б; *горѣ на висоцѣ* 381б; *по Велицѣ дни* 371б, 372б. Исключение – топоним *Бака ‘Баку’: *к Бакѣ* 371а (2х), *в Бакѣ* 386б. Чередование отсутствует в сочетаниях согласный + заднеязычный: *въ горотѣкѣ* 375а, *в гороткѣ^x* 385а; *по тенкѣ* 381б (*тенка* ‘деньга’); *на шапкѣ* 385а; *в ка||мкѣ* 385а–б (*камка* ‘вид ткани’). В московском диалекте XIV–XV вв. чередование *к/ц, г/з, х/с* было, по-видимому, обязательным, кроме сочетания *-ск-*.

За исключением псковско-новгородского ареала, сформированного под сильным влиянием древнепсковского диалекта, в котором заднеязычные не превращались в переднеязычные аффрикаты/спиранты («отсутствие II палатализации»), отсутствие чередований *к/ц, г/з, х/с* в русских диалектах не имеет фонетического объяснения и является результатом их морфо(но)логического устранения, один из этапов которого демонстрируется языком «Хождения». В белорусских говорах как кривичского, так и иного происхождения и в украинском языке чередования по II палатализации сохранили актуальность.

Приложение I

ЗАМЕЧАНИЯ О РОСТОВО-СУЗДАЛЬСКОМ ДИАЛЕКТЕ

Восточная граница верхневолжских кривичских, в том числе тверских, говоров с ростово-суздальскими образована пучком изоглоссы, таких как:

1. Верхневолжск. *-jê* (совр. *еѣ, одноѣ*), также вост.-новг. *-ji < -jê ⇔* рост.-сузд. **-je (-к) > -jo* (совр. *еѣ, одноѣ*).

2. Верхневолжск. род.–вин. *тобе, собе* (совр. *тобя, собя*) и дат.–местн. *тобѣ, собѣ* ⇔ рост.-сузд. род.–вин. *тебе, себе* (совр. *тебя, себя*) и дат.–местн. *тебѣ, себѣ*; в вост.-новгородском, по-видимому, род.–вин. *тебе, себе*, но дат.–местн. *тобѣ, собѣ*.

3. Верхневолжск. *-ть* в 3 л. презенса (*несеть, несуть*) ⇔ рост.-сузд. *-тъ* (*несеть, несуть*).

4. Верхневолжск. **кричати, *държати, *дышати, *дичати*, так же в вост.-новгородском ⇔ рост.-сузд. **кричѣти, *държѣти, *дышѣти, *дичѣти* с восстановлением суффикса *-ѣ-* по другим *ѣ/i-* и *ѣ/ѣj-* глаголам; ареал форм типа *кричѣти* в современных говорах см. на карте 1 и [10. Вып. II. Карта 103]¹⁵.

¹⁵ При пользовании картой ДАРЯ в расчет нужно принимать только говоры с *-ѣ-* в форме м., ж. и ср. р. *l-*формы *кричел(-а, -о), дышел(-а, -о)*, так как в инфинитивах *кричать, дышать*, мн. ч. *l-*формы *кричели, дышели -е-* может иметь фонетическое происхождение.

5. Верхневолжск. *дъньце, *одънье, *одънькъ (совр. *донце, одонье, одонок*), также и в вост.-новгородском ⇔ рост.-сузд. *дъньце, *одънье, *одънькъ (совр. *денце, о[д'э]нье/о[д'и]нье, о[д'о]нок*), т. е. *дъп- > *дъп-¹⁶.

6. Верхневолжск. *сѣдѣти, сѣдитъ* (по данным рукописей и диалектологии); *дѣта* (по данным рукописей) ⇔ рост.-сузд. *сидѣти, *сидитъ; *дита (русск. литер. *сидеть, сидит; дитя*).

? 7. Судя по данным древнерусских памятников, также верхневолжск. *крыло* (< слав. *kridlo) ⇔ рост.-сузд. *крыло с -ы-, возникшим по аналогии с глаголом *крыти*. В современных русских говорах, по-видимому, только *крыло*.

Последние три изогlossы сближают ростово-суздальский диалект с украинскими подольским, (южно)волинским и галицким (карпатоукраинским) диалектами – укр. литер. *денце; сидіти; галицк. [29] денцѣ, одѣнок; сидіти, дитя; закарпатск. dencé; sid'iti, dit'a; kruló [30, passim]*.

Приложение 2

ЗАМЕЧАНИЯ О ВОСТОЧНОНОВГОРОДСКОМ (ИЛЬМЕНСКО-СЛОВЕНСКОМ) ДИАЛЕКТЕ

К западу от зоны, ограничиваемой пучком тверских изогloss, располагаются восточноновгородские говоры, в основе которых лежит племенной ильменско-словенский диалект. К востоку и юго-востоку от ареала древнетверских изогloss находятся говоры, по большей части сформированные на основе древнерусских ростово-суздальского и рязанского диалектов [3].

Говоры к востоку от Новгорода генетически восходят к племенному диалекту ильменских (новгородских) словен, культура и язык которых не состояли в близком родстве с кривичами. Племенной ареал словен определяется рядом этноопределяющих признаков. В частности, «в области новгородских словен распространены ромбоштитковые (и овальноштитковые) височные кольца, которые служат этноопределяющим признаком этого племени [...] Основной ареал их – Приильмень с бассейнами Луги и Плюсы [...] Ромбоштитковые кольца бытовали в Новгородской земле продолжительное время – с начала XI века до XVI в. включительно» [8. С. 177]. Другим ильменско-словенским признаком является способ устройства похоронных насыпей. У новгородских сопок VI–XI вв. «одной из важнейших частей [...] является кольцо, сложенное в основании из валунов [...] Это кольцо в большинстве случаев сооружалось раньше, чем насыпь» [8. С. 61]. «На смену курганным захоронениям в древнем ареале новгородских словен приходят жальники [...] Это – кладбище из грунтовых могил, обставленных на поверхности валунами в вид кольца или прямоугольника» [8. С. 180]. Восточная граница распространения ильменско-словенских жальников XII–XV вв. не соответствует границе Новгородской земли, при этом почти в точности совпадает с изогlossой

¹⁶ В [1. С. 128] формы о[д'э]нье, о[д'и]нье неверно трактуются как «кривичские» с допущением локального смягчения согласных в *о[д'э]нье, о[д'и]нье – формах, характерных для псковских говоров. Корень *дъп- в говорах ростово-суздальского происхождения регулярно имеет вид *дъп-: *дѣнце* 'доска для укрепления гребня в самопрялке и для сидения при работе, донце' Меленк. Влад., также Нижегород., Никол. Волог.; *дѣнышко* 'доньшко' Кинеш. Костром., Влад., Яросл., а также эти формы и *дѣнка, дѣнко, денник, дѣнник, денной* и *дѣнный* в говорах позднего заселения [24. Вып. 7. С. 351–353]; *одѣнок* 'остаток сена, соломы, хлеба на месте стога, скирда' Яросл., Твер.; 'нижний слой сена, соломы в стогу' Калинин., Костром., Яросл., Моск.; 'гуща, осадок на дне сосуда от масла, кваса и т. п.' Иван., Волог., также в говорах на территории позднего расселения [24. Вып. 23. С. 12–13]. Относительно ареала о[д'э]нье, о[д'и]нье см. [1. С. 128. Карта 3].

полного синкретизма окончаний род.-дат.-местн. ед. *a*-основ, {*водѣ=водѣ=землѣ=землѣ*} или {*воды=воды=земли=земли*}, которая в свою очередь является западной границей говоров, восходящих к древнетверскому диалекту, см. карту 2. По-видимому, это древняя этнолингвистическая граница, установившаяся не позднее XV в.

Ильменско-словенская, или восточноновгородская, территория на западе и юге ограничена мощным пучком псковско- и смоленско-кривичских изоглосс, а с востока – рассматриваемыми в настоящей статье тверскими изоглоссами. Основной восточноновгородской изоглоссой на русском северо-западном ландшафте являются «твердое» окончание 3 л. презенса, восходящее к **-тъ*, в отличие от «кривичского» **-тъ*. Еще одной изоглоссой относительно древнего происхождения является «иканье», переход *я* в *i* перед твердыми согласными и на конце слова (**lěsъ > l'us*, **na golvě > na голов'u*), который отражает особенность произношения рефлекса слав. **ě* – вероятно, это был монофтонг [e]. В новгородских берестяных грамотах написание *и* на месте этимологического **ě* сравнительно быстро нарастает с середины XIII в. [4. С. 26], что совпадает с временем массовой инфильтрации в новгородское койне вост.-новгородских (ильменско-словенских) признаков, таких как «твердое» окончание *-тъ* 3 л. ед. и мн. ч. и т. д. В других русских говорах на территории раннего расселения *я*ть имеет дифтонгический рефлекс [ie] (в некоторых ареалах с сужением в [iɛ] > [i] только перед мягкими согласными) или совпадает с рефлексами **e*, **ь* – *ě* > [ie] (> *e*). В псковско-кривичских по происхождению говорах отмечен широкий рефлекс **ě*: **kěръ=*сěръ > k'an*, **sědlъ > c'al*, **kěvъ > др.-пск. *кѣвъ [kă:vi] > эст. kääv, финск. käämi* ‘цевка, катушка’. Заявленные в [31. С. 111; 32. С. 23, 144–147] акцентологические отличия ильменско-словенского диалекта от кривичского и ростово-суздальского нуждаются в дополнительном подтверждении.

Восточноновгородские говоры имеют специфические общие изоглоссы с ростово-суздальскими и другими говорами ближнего Северо-Востока (в частности, **-тъ* в 3 л. презенса), что может говорить о расщеплении первоначального северо-восточного диалектного континуума кривичским «клином» в регионе Тверского Поволжья.

Приложение 3

СИСТЕМЫ РЕФЛЕКСОВ «ПАЛАТАЛИЗАЦИЙ» ЗАДНЕЯЗЫЧНЫХ В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Ранне- праславянская	Стандартная («общеславян- ская»)	Псковско- новгородская	Тернарная	Смоленская
* к^e	* č' (шипящая аффриката) > <i>ч'</i> (> <i>ч</i>)	* с'' (свистящая/ шипящая аффриката) > <i>ц'</i> (> <i>ц</i>)	* č' (шипящая аффриката) > <i>ч'</i> (> <i>ч</i>)	* č' (шипящая аффриката) > <i>ч'</i> (> <i>ч</i>)
* к^ě	* с' (свистящая аффриката) > <i>ц'</i> (> <i>ц</i>)	* ĕ (палаталь- ный смычный) > [k̠] (> <i>ц'</i>)	* ĕ (палатальная аффриката) > <i>ц'</i>	* č' (шипящая аффриката) > <i>ч'</i> (> <i>ч</i>)
* кⁱ	* с' (свистящая аффриката) > <i>ц'</i> (> <i>ц</i>)	* с'' (свистящая/ шипящая аффриката) > <i>ц'</i> (> <i>ц</i>)	* с' (свистящая аффриката) > <i>ц</i>	* с' (свистящая аффриката) > <i>ц</i>

РЕФЛЕКСЫ *k и *x в КОРНЯХ В ПОЗИЦИИ II ПАЛАТАЛИЗАЦИИ В СИСТЕМАХ,
В КОТОРЫХ РЕФЛЕКСЫ II ПАЛАТАЛИЗАЦИИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ РЕФЛЕКСОВ
III ПАЛАТАЛИЗАЦИИ

	Древнепсковская система	Новопсковская система	Смоленская система	Тернарная система
*kěp-	к'еп, к'епок, к'еп'ец и т. п. [22, 27, 24]; кѣпать [27]	ц'еп'ец, ц'апк'и [22]	чап'ец [22]	ц'еп, ц'а-п'ел'инь [22]
*kěv-	к'евь, к'эвка, к'ев'ина/т'ев'ина, к'евјо/т'евјо и т. д. [22, 27, 24]		чав'инь [22]	ц'элъј, ц'илују [22]
*kěd-	кедѣть, кедѣшка, кедѣлка [22, 27], кеж [24], кѣша [27]	ч'эд'им, ц'ьд'илкъ [22]		
*kěl-	др.-новг. *кѣле 'целый'	ц'эльј, ц'ел'нај, ц'ел'ина; ч'алјуѣца [22]	ч'ельј [22]	ц'эльј, ц'ел'ныј [22]
*kěp-		ц'ены [22]	чына [22]	ц'ины, пь ц'ин'э, ц'инит [22]
*кѣrk y	др.-новг. крѣкъвь	ц'эрква, у черкву, ц'эр'коф [22]	ч'эркъв [22]	ц'ер'къф', ц'эр'ква [22]
*хѣr-	др.-новг. хѣрь, Хѣрово	с'эры(ј) [22]	шэры(ј) [22]	с'эръј, с'эрыј [22]
*хѣd-	др.-новг. Хѣдово			

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Николаев С. Л. Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи // Балто-славянские исследования (БСИ) 1986. М., 1988.
2. Николаев С. Л. Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи (окончание) // БСИ 1987. М., 1989.
3. Николаев С. Л. Раннее диалектное членение и внешние связи восточнославянских диалектов // Вопросы языкознания. 1994. № 3.
4. Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. М., 2004.
5. Седов В. В. Славяне. Историко-археологическое исследование. М., 2002.
6. Седов В. В. Смоленская земля // Древнерусские княжества X–XIII вв. М., 1975.
7. Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984.
8. Седов В. В. Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982.
9. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950.
10. Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР/России. М., 1986. Вып. I. Вступительные статьи. Справочные материалы. Фонетика; М., 1989. Вып. II. Морфология. Комментарии к картам; М., 1996. Вып. III. Синтаксис. Лексика. Комментарии к картам. Справочный аппарат.
11. Тер-Аванесова А. В. Окращения единственного числа существительных а-склонения // Восточнославянские изоглоссы. 1998. М., 1998. Вып. 2.
12. Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993.
13. Смоленские грамоты XIII–XIV веков. М., 1963.

14. [Протоиерей И. Григорович]. Белорусский архив древних грамот. М., 1824. Часть первая.
15. Абраменко О. А. Динамика развития диалектных систем склонения (наблюдения над среднерусскими говорами) // Индоевропейское языкознание и классическая филология. Материалы чтений, посвященных памяти проф. И.М. Тронского. СПб., 1998.
16. Абраменко О. А. Новые данные по рефлексации индоевропейских окончаний gen., dat. и loc. sg. а-склонения (на материале западных и северо-западных русских говоров). Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. СПб., 2000.
17. Дыбо А. В. Деклинационные различия в новгородских диалектах XIII–XIV в. и их локализация // БСИ 1986. М., 1988. С. 79–115.
18. Хождение за три моря Афанасия Никитина 1466–1472. М.; Л., 1955.
19. Полное собрание русских летописей. Т. 6. Софийские летописи. Вып. 1. Софийская первая летопись старшего извода. Изд. 2-е. М., 2000.
20. Полное собрание русских летописей. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Изд. 4-е. М., 1997.
21. Бромлей С. В., Булатова Л. Н. Очерки морфологии русских говоров. М., 1972.
22. Материалы ДАРЯ – ответы на вопросы «Программы собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка» (М.; Л., 1947), хранившиеся в Отделе диалектологии и лингвогеографии Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН; материал распределен по зонам, соответствующим территориальному охвату каждого из региональных атласов (АРНГ Зап., В., Сев.-Зап., Зап., Сев., Юг – ср. [23]), каждый атлас имеет свою нумерацию населенных пунктов (расшифровку номеров см. [10. Вып. III. С. 314–370]).
23. Атласы русских говоров центральных областей а) к западу (Зап.), б) к северу (Сев.), в) к северо-западу (Сев.-Зап.), г) к югу (Юг) от Москвы (рукописи, хранившиеся в Отделе диалектологии и лингвогеографии Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН).
24. Словарь русских народных говоров. Л.; СПб., 1965–2007. Вып. 1–41.
25. Глушкина С. М. Морфонологические наблюдения над звуком [ch] в псковских говорах // Псковские говоры. Псков, 1962. Вып. II.
26. Глушкина С. М. О второй палатализации заднеязычных согласных в русском языке (на материале северо-западных говоров) // Псковские говоры. Псков, 1968. Вып. II.
27. Псковский областной словарь. Л./СПб., 1967–2009. Вып. 1–21.
28. Живов В. М. Правила и произношение в русском церковнославянском правописании XI–XIII вв. // Russian linguistics. 1984. № 8. P. 251–293.
29. Желеховский С., Недільский С. Малоруско-німецкий словарь. Львів, 1886. Т. I–II.
30. Материалы Карпатских экспедиций Института славяноведения РАН (1987–2008).
31. Дыбо В. А., Замятина Г. И., Николаев С. Л. Основы славянской акцентологии. М., 1990.
32. Дыбо В. А., Замятина Г. И., Николаев С. Л. Основы славянской акцентологии. Словарь. Непроизводные основы мужского рода. М., 1993. Вып. 1.

© 2011 г. *Е.В. ПЧЕЛОВ*

«ПОГОНЯ» И «ЕЗДЕЦ»: «РОДСТВО» ИЛИ СХОДСТВО?: БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ В ЭМБЛЕМАТИКЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

В статье рассмотрена гипотеза о возможном заимствовании эмблемы московских князей, всадника, от подобной литовской. На основании анализа сфрагистических и нумизматических источников сделан вывод о существенной разнице обеих изобразительных традиций. Вероятно, имело место параллельное развитие сходных сюжетов в относительно едином, широком эмблематическом контексте, не исключавшем довольно заметных по своим различиям вариантов.

The article discusses the hypothesis of a possible borrowing of the emblem of Moscow princes, namely that of the rider, from a similar Lithuanian representation. The analysis of sphragistic and numismatic sources allows to conclude that the two traditions of representation are clearly distinct. It is probable that there was a parallel development of similar themes in a relatively uniform and broad emblematic context that did not exclude distinct and even differing variants.

Ключевые слова: эмблема, герб, печать, Русь, Литва.

Впервые в российской историографии предположение о возможном влиянии литовской «погони» («витиса») на русскую княжескую эмблематику было высказано основателем научной геральдики в России А.Б. Лакиером в знаменитом труде «Русская геральдика» (СПб., 1855). Анализируя печати великих князей московских, А.Б. Лакиер обратил внимание на одну из печатей Василия I (1389–1425), которая скрепляет договорную грамоту этого князя с его дядей князем Владимиром Андреевичем Серпуховским (см. [1. С. 149. № 16]). Эта печать «носит изображение всадника на коне, копьем вооруженного». «Фигура эта, – писал Лакиер далее, – мало отличается от штемпеля на монетах того же великого князя; но еще ближе к ним великого князя печать: всадник, рассекающий воздух мечом; а что это изображение самого великого князя, о том свидетельствует надпись на монетах его с тем же изображением: “Князь великий Василий Дмитриевич”» [2. С. 76]. И хотя вторая упомянутая Лакиером печать, привешенная ко второй духовной грамоте Василия I (около 1417 г.), на самом деле, по-видимому, является печатью его тестя великого литовского князя Витовта [1. С. 150, № 19], именно печать Василия I с изображением всадника была для Лакиера первым примером того изобразительного типа, к которому восходил позднейший «ездец» великих московских князей.

«В то же самое время, – продолжил Лакиер, – как эта воинственная и грозная эмблема усвоена московским великим князем, независимо от Москвы возникло

Пчелов Евгений Владимирович – канд. ист. наук, доцент РГГУ.

и росло на западе России сильное противовесие ей – Литва [...] Тот же всадник, едущий на коне *под снятым мечом*, был усвоен и Литвою, и если Витен, взявший этот герб, видел в нем по выражению нашей летописи “*рыцаря збройного на коне с мечом*”, погоня этот впоследствии обратился в изображение самого литовского великого князя, едущего, по обыкновению, на коне на защиту своих владений и для расширения пределов своего государства. Та же идея, не оставлявшая московских великих князей, не могла не выразиться на их печатях и монетах, а простое сравнение печатей великого князя Василия Дмитриевича и печатью Витовта заставляет подозревать заимствование (если не идеи, то изображения), что становится совершенно ясным, если вспомнить, что великий князь Василий Дмитриевич был женат на дочери его, Софии Витовтовне. Пользуемся случаем, чтобы приложить к этому исследованию печать князя Корибута Ольгердовича, владевшего Новгород-Северским. Она носит изображение всадника с копьём, а русская надпись на обороте ее показывает, как твердо Литва была сплочена с коренною Россиею» [2. С. 76]. Как видим, свое предположение Лакиер обосновывал, исходя из атрибуции печати духовной грамоты именно Василию I, а не Витовту. Кроме того, Лакиер обратил внимание и на сообщение поздней (XVII в.) Густынской летописи (считалось, что она восходит к Ипатьевской), которая относит появление литовской эмблемы ко временам князя Витеня (около 1295–1316 гг.), то есть к рубежу XIII–XIV вв. (Витень, «нача княжити над Литвою, измысли себе герб и всему князству Литовскому печать: рыцарь збройный на коне, с мечом, еже ныне наричут погоня» (см. [3. С. 295]). Далее Лакиер, обратив внимание на известную печать Ивана III (1462–1505) 1497 г. с двуглавым орлом и «ездецом», где уже изображен не просто всадник, а всадник-змеборец, более подробно остановился на интерпретации московского всадника, отметив, что подобная эмблема, «не чуждая всему Северу, повторяется в сагах скандинавских». «Для образца, – отмечал затем исследователь, – мы приводим печать одного из герцогов Подолии Александра, сына Кориата и внука Ольгердова. На печати этой, относящейся к 1375 г., виден св. Георгий в венце, под лошадью дракон, пораженный копьём» [2. С. 81]. Таким образом, даже рассматривая эмблему змеборца, в которой, применительно к периоду Московской Руси, Лакиер усматривал светское содержание, исследователь приводил параллели из литовского сфрагистического материала.

Идея о взаимосвязи московской и литовской традиций в эмблематике всадника нашла отклик в работах и других исследователей. Именно Великое княжество Литовское, а затем и Польско-Литовское государство мыслилось некоторыми крупными специалистами в качестве одного из, своего рода, «проводников» европейских сфрагистических и эмблематических традиций на Русь [1. С. 128–129], тем более, что ряд новых явлений в русской сфрагистике «Московского периода» явно мог иметь польско-литовские прототипы (наиболее яркий пример – «структура» Большой государственной печати Ивана Грозного конца 1570-х годов, возможно, восходящая к имперским и польско-литовским образцам).

Качественно новый этап в изучении этого вопроса был обусловлен введением в научный оборот нового источникового материала и, прежде всего, публикацией и изучением русских монет конца XIV–XV в. (см., например [4–9]), актовых печатей древнерусского времени [10–11], а затем и возрождением, после долгого перерыва, научного интереса к русской дореволюционной геральдике. Были выявлены изображения конного воина на русских печатях и монетах с начала XIII в., собран необходимый фактический материал, в результате чего появилась возможность представить панораму истории этого эмблематического сюжета в древнерусском контексте.

В изучении изображений на литовских монетах и печатях также произошли заметные «сдвиги». Большой интерес к литовской эмблематике возник в период существования независимой Литовской Республики, когда был опубликован

ряд важных трудов по этому вопросу на основе как сфрагистики, так и нумизматики. Большое значение имели работы видного польского исследователя Мариана Гумовского [12] и занимавшихся происхождением и эволюцией «витиса» Мстислава Валериановича Добужинского (1875–1957) [13] и Йонаса Илгунаса (1897–1956) [14]. В частности, выдающийся художник и геральдист М.В. Добужинский, подробно исследовав изображения всадника на печатях и монетах литовских князей, провел тщательный стилистический анализ, в том числе и таких деталей изображения, как хвост коня, геральдический щит, эмблемы двойного креста и «Гедиминовых столпов» («колюмн Гедимины»). Развивая идею Лакиера, Добужинский не отрицал возможности, благодаря браку Василия I с Софьей Витовтовной, генетической связи звеньев цепочки: герб литовских великих князей – «витис», как герб московских великих князей – св. Георгий. Впоследствии исследование средневековой литовской нумизматики продолжалось как российскими [15, 16], так и литовскими учеными (полную библиографию работ литовских исследователей см. [17]; из работ обобщающего характера см. [18–19]).

В контексте эмблематики и геральдики одним из первых в новейшей российской историографии к истории московского «ездеца» обратился Г.В. Вилинбахов [20], попытавшийся проследить и генезис этой эмблемы на основании русской княжеской сфрагистики. Специальные исследования нумизматической эмблематике посвятил А.В. Чернецов [21–22], рассмотревший фигуру всадника на монетах великих московских, тверских и удельных князей [21. Р. 98–114]. Обратив особое внимание на два типа изображений – сокольника и змеборца, он сопоставил эти варианты с другими изображениями и описаниями в рамках древнерусской культурной традиции (фольклор, искусство, литература). Отметив, что эмблема всадника-змеборца впервые появилась на монетах в период правления Василия I, исследователь пришел к выводу, что это изображение могло символизировать борьбу против ордынского ига. В фигурах всадников, в том числе и всадника-змеборца, А.В. Чернецов усматривает изображения князей (в соответствии с устоявшейся и вполне обоснованной традицией).

Идея о литовском влиянии на московского «ездеца» в современной историографии была возрождена А.А. Молчановым, посвятившим ряд работ исследованию эмблемы всадника на печатях и монетах русских князей [23–25]. Исследователь выявил типологию изображений и проследил их эволюцию, подчеркнув синкретичность образа конного воина, ставшего династической эмблемой московского правящего рода. Важной особенностью работ Молчанова является попытка установить связь истории эмблемы с генеалогией Рюриковичей, то есть выявить наследственную преемственность в ее бытовании. Существенно, что историк не отрицает вероятных балтских истоков данного сюжета в средневековой русской (и в частности новгородской эмблематике): «Прямое заимствование соответствующего популярного в геральдике Западной Европы сюжета буллами Александра Невского, судя по иконографическим наблюдениям, явно исключается. Такое сюжетное влияние, если оно было, могло скорее исходить из более близкого источника, а именно из смежных с Новгородом областей Западной Руси и все активней распространявшей на них свою политическую экспансию Литвы, где конный воин к тому времени, по всей вероятности, уже стал государственным геральдическим символом» [24. С. 29]. В поддержку этой идеи свидетельствует и культ коня у древних балтов, понимание коня как символа власти правителя, обычай захоронения с конем (ср. обряд погребения Ольгерда). Изучению изображения всадника на монетах Великого княжества Московского и его уделов посвятил исследование и С.Н. Таценко [26], показавший, что распространение этой эмблемы от великих московских князей к удельным было связано с межкняжескими отношениями внутри династии потомков Ивана Калиты и, в частности, признанием или непризнанием сюзеренитета великих князей удельными. Свои

выводы Таценко проиллюстрировал на материале усабицы между двумя ветвями потомков Дмитрия Донского.

Е.И. Каменцева [27–28], также подробно остановившаяся на истории московского «ездеца», сконцентрировала внимание на собственно древнерусских его истоках.

Н.А. Соболева, атрибутировав вслед за Г. Алефом две печати с всадником при духовных грамотах Василия I (второй и третьей, около 1417 г. и 1423 г.; первая печать сохранилась фрагментарно) великому литовскому князю Витовту, отметила литовское влияние: «Многие исследователи печатей считали посредником между Западной Европой и Русью Литву. Подобную возможность проникновения на Русь западноевропейских влияний отрицать нельзя. Простое сравнение печатей великого князя Василия Дмитриевича, привешенных ко второй и третьей духовным грамотам, и печатей Витовта последних десятилетий его правления позволяет установить их тождественность. Печать Василия Дмитриевича у третьей духовной оттиснута в ковчеге, что характерно не только для печатей Витовта, но является особенностью западноевропейской средневековой сфрагистики. Можно привести и другие примеры, говорящие о посредничестве Великого княжества Литовского в становлении на Руси нового способа скрепления документа: одновременное использование литовскими князьями печатей с латинскими и русскими легендами, адекватность художественных образов и мотивов русских, литовских, польских и других западноевропейских печатей XIV–XV вв.» [1. С. 129]. И далее: «Изображение вооруженного всадника типично в XIII–XIV вв. и для княжеских печатей Западной Европы. В Восточной Европе оно имеет место в это же время. Вооруженного всадника можно встретить на печатях и монетах литовских князей, на польских печатях. Нередко вооруженный всадник встречается на оборотной стороне больших королевских печатей» [1. С. 205]. Однако, не проведя сравнительного сопоставления особенностей изображений всадников, исследовательница ограничилась лишь самыми общими выводами. Рассматривая же образ «ездеца» на печати Ивана III, Соболева выделяет особый иконографический тип, получивший распространение в московском княжеском доме – всадник-змееборец, и сближает его с образом Георгия-змееборца, отдавая предпочтение версии о его «сакральном» изобразительном источнике.

Оригинальный взгляд на взаимоотношение литовского и московского всадников был высказан в белорусской историографии, где специальное исследование истории «погони» посвятил А. Титов [29]. Связывая истоки этой эмблемы с языческими культами солнца, автор считает ее конкретными прототипами изображения святых на конях (в частности, наличие конного воина на печати Наримунта). Более того, именно изображения всадника на печатях древнерусских князей через западно- и северо-русские земли (Полоцк, Витебск, Новгород), по мнению исследователя, могли оказать влияние на появление подобных эмблем в Литве. Иными словами, связь литовской и русской эмблем была поставлена в обратную, нежели традиционная, зависимость.

А.Л. Хорошкевич в ряде работ, из которых наиболее фундаментальной по интересующей нас тематике является раздел в книге «Герб и флаг России X–XX вв.», рассмотрела примерные европейские сфрагистические аналогии – изображения всадника на западноевропейских печатях, начиная с XI в. (печати герцога Адальберта Лотарингского, маркграфа Эрнста Австрийского, графа Балдуина Фландрского), констатируя, что осуществленные ею «поиски прообраза первой русской “конной печати” зашли в тупик» [30. С. 71], настолько распространены были схожие изображения в общеевропейском контексте, хотя точных аналогий с русскими всадниками не прослеживается. «Изображение на ней (*первой русской “конной печати”*) наиболее сходно с иконографией печатей великопольских князей,

но можно предполагать, что некоторую роль в том, что в XIII веке копьё было заменено мечом, сыграл и пример Латинской империи» (в качестве примеров приводятся печати князей конца XII – первой половины XIII в.: Одо Познаньского, Казимира I Опольского, Земовита Мазовецкого, Пшемысла I Познаньского), и далее: «Трудно думать о балтском или литовско-западнорусском происхождении этой эмблемы» [30. С. 71].

Метод Хорошкевич подверг справедливой критике В.А. Кучкин: «Впрочем, и общий подход А.Л. Хорошкевич к анализу эмблем русского средневекового сфрагистического и нумизматического материала не может быть признан плодотворным. Автор рассуждает об изображениях всадников, двуглавых орлов крайне абстрактно, без детального разбора элементов эмблем, наивно объединяя в одну группу изображения всадников – святых на русских печатях XIII в. и всадников-правителей на западноевропейских печатях XI–XV вв., вообще всадников на русских печатях и монетах XIV–XV столетий только потому, что изображены сидящие на конях люди, и пытается на столь аморфной основе выявить генезис печати определенного типа [...] Понятно, что применяя подобную методику исследования, А.Л. Хорошкевич не в состоянии прийти к определенным выводам» [31. С. 7].

Г.И. Королев, отметив, что заимствование всадника на печати князя Мстислава Мстиславича (Удатного) (первая древнерусская княжеская печать с изображением конного воина) с печатей графов Фландрских (одно из предположений Хорошкевич) «ничем не подтверждено», указал, что «в принципе, изображение всадника на печатях и монетах можно объяснить и не заимствованием. Для того времени, о котором идет речь, конный воин был заметным элементом действительности». «Тем не менее, – продолжает исследователь, – совсем исключать западное влияние на появление сфрагистического всадника нельзя» [32. С. 83]. В то же время «на Западе всадник был столь распространен, что за некоторыми исключениями нельзя с уверенностью утверждать, кто у кого фигуру заимствовал. Стереотипность образа была весьма великой». Наибольшее сходство всадника с печати князя Мстислава Мстиславича Королев, обратив внимание на такие особенности изображений, как нимб над головой, шестиконечный крест за спиной и изображение ног коня, обнаружил с монетой князя бодричей Прибыслава (1160–1178). Однако «отличия Мстиславова всадника от подобных фигур на западноевропейских печатях, думаю, показывают, что о заимствовании в прямом смысле слова говорить не приходится» [32. С. 85].

Более детальное исследование эмблемы всадника на русском материале с привлечением европейских источников было проведено Магдолной Агоштон [33–34]. В частности, она специально остановилась на изображениях всадника в польской и литовской сфрагистике [34. С. 359–362], подчеркнув широкую распространенность «конного» сюжета в Европе (конь – символ солнца) и вероятный параллелизм традиций. Печать с изображением рыцаря на коне в Западной Европе была устойчивым типом печатей феодалов более низкого ранга, нежели короли (герцогов, графов), причем всадник мог изображаться с копьём, знаменем или мечом. Наиболее ранним случаем употребления такой печати Агоштон считает печать герцога Альберта Лотарингского 1037 г. «В XIII в. употребление польскими князьями подобной печати стало обычным делом. В XIV в. конная композиция стала широко использоваться и в сфрагистике литовских князей» [34. С. 343]. Важным шагом «проникновения “конной” печати в русскую княжескую сфрагистику стал разрыв с традицией помещения на печати тезоименного святого, замена его конным воином» – констатирует далее исследовательница. В частности, на рубеже XIII–XIV вв. печатью с изображением всадника пользовался белзский и затем волынский князь Юрий Львович (конный рыцарь в доспехах со щитом и знаменем). Большое значение Агоштон придает также печати князя Наримунта

Гедиминовича, скрепившей около 1330 г. торговый договор между Полоцком и Ригой. «Означенная печать является первой из известных в ряду княжеских печатей литовско-русских князей Гедиминова рода. С конца XIV в. после принятия литовским князем Ягайло Ольгердовичем католичества и избрания его на польский королевский трон изображение всадника стало считаться гербом великого князя литовского, а позднее всех князей Гедиминовичей. В начале XVI в. литовский герб получил название “Погоня”» [34. С. 345].

В современной литовской геральдике принципиальное значение имеют работы Э. Римшы [35–36], который рассмотрел историю литовского всадника, двойного креста и «колюмн Гедиминовичей» в качестве национальных геральдических эмблем, показав эволюцию «витиса» в контексте как западноевропейского, так и древнерусского сфрагистического материала. В 2000 г. анализ изображений всадника на печатях литовских князей предприняли также Ю.Н. Бохан и И.И. Синчук [37].

В целом, можно сказать, что к настоящему времени, за некоторыми исключениями, идея «заимствования» эмблемы всадника сменилась в историографии идеей «схожести», причем в существенно расширенном географическом и культурном ареале – идеей, предполагающей общие значимые элементы в семантике самой эмблемы.

Очевидно, что вопрос о конкретных изобразительных и/или семантических прототипах тех или иных эмблематических изображений всадника в русской сфрагистике и нумизматике все еще далек от разрешения. Если попытаться в целом обозреть доступный русский и литовский сфрагистический и нумизматический материал, представленный в вышеназванных публикациях, можно сделать следующие наблюдения.

На печатях древнерусских князей изображение конного воина впервые появилось в начале XIII в. Это печать князя Мстислава Мстиславича Удатного (ум. в 1228 г.), который в 1210-х годах два раза был новгородским князем. Печать относится к распространенному в тот период типу печатей с изображением двух патрональных святых – святого-покровителя князя и святого-покровителя его отца, на двух сторонах печати соответственно. На лицевой стороне печати Мстислава Мстиславича имеется изображение всадника-святого с развевающимся плащом. Этот всадник обращен в правую от зрителя сторону и представляет собой Федора Тирона, который был патрональным святым Мстислава. На оборотной стороне печати имеется изображение св. Федора Стратилата (патронального святого отца Мстислава) – стоящего воина с копьем и щитом. На святость фигур изображенных указывают нимбы над их головами. Таким образом, первый конный воин в русской сфрагистике – св. Федор Тирон, то есть сакральное, а не светское изображение. Недавно, впрочем, была предложена новая атрибуция приписываемых Мстиславу Удатному печатей, связывающая их с новгородским князем Федором Ярославичем (1228–1229, 1232–1233), старшим братом Александра Невского [38. С. 404–418].

Следующий князь, на печати которого также имеется всадник – это внук Всеволода Большое Гнездо – Всеволод Юрьевич, также дважды правивший в Новгороде (погиб в 1237 г.). На двух сторонах его печати изображены двое святых: стоящий с мечом Дмитрий Солунский на лицевой стороне и скачущий на коне Георгий Победоносец с плащом на оборотной – святые покровители князя и его отца. Святой всадник в данном случае имеет отношение к личности отца Всеволода – великого владимирского князя Юрия (Георгия) Всеволодовича (погиб в 1238 г.). Георгий Победоносец на этой печати также обращен в правую от зрителя сторону.

На печатях двоюродного брата Всеволода Юрьевича – князя Александра Ярославича (Невского), который (на что обратил внимание в контексте данной темы

А.А. Молчанов) по материнской линии приходился внуком Мстиславу Удатному, также присутствуют изображения всадников. Они двух типов: это (на лицевой стороне печатей) или вооруженный мечом всадник с нимбом, который, очевидно, обозначает святого Александра (патрона князя), или всадник с мечом без нимба, но в короне (оба обращены в правую от зрителя сторону). На оборотной стороне этих печатей изображен стоящий воин с нимбом, который колет копьем в пасть лежащего на земле дракона, а другой рукой держит за уздечку коня. Это св. Федор – покровитель отца Александра Невского, князя Ярослава Всеволодовича (великий князь владимирский в 1238–1246 гг.). Всадник, как видим, может или обозначать св. Александра, или, вероятно, символизировать самого князя. Принципиально важно, что именно на печатях Александра Невского впервые встречается светское изображение всадника и, кроме того, появляется первое изображение всадника, вооруженного мечом, причем меч он держит в поднятой и отставленной назад правой руке так, как изображался меч и на печатях европейских феодалов со всадником того же времени, и на печатях литовских князей с «витисом» впоследствии. Сама стилистика композиции, таким образом, полностью находилась в русле общеевропейской эмблематической традиции.

Сыновья Александра Невского «унаследовали» от отца изображение всадника на своих печатях. Светский всадник в короне с мечом присутствует на печатях Даниила Александровича (ум. в 1303 г.), символизируя отца (самого князя обозначает изображение св. Даниила Столпника). Светский всадник есть и на печатях Андрея Александровича (ум. в 1304 г.) – только теперь это не мечник, а сокольник. В правой поднятой и отставленной назад руке вместо меча этот всадник держит сокола. Поскольку на другой стороне печати Андрея Александровича, по всей видимости, изображен его патрональный святой – Андрей Критский, то и в этом случае всадник (сокольник) символизирует отца – князя Александра Невского, и как бы является его «наследием». На печатях Дмитрия Александровича (ум. в 1294 г.) тоже имеется всадник, но святой – Дмитрий Солунский. Он держит вертикально опущенное копье и скачет в левую от зрителя сторону. Таким образом, в поколении сыновей Александра Невского появляется новый вариант светского всадника – сокольник, и новое изображение святого всадника на печатях, повернутое в другую сторону. Может быть, на формирование последнего варианта оказали влияние изображения святого Федора на печатях Александра Невского – спешившегося святого воина с направленным вниз копьем.

Наконец, сын Даниила Александровича Юрий (Георгий) Данилович (ум. в 1325 г.) также пользовался печатью с изображением всадника – своего небесного покровителя Георгия Победоносца. Этот святой воин вооружен мечом и скачет вправо от зрителя. По своему типу это изображение практически сходно с изображением св. Александра на печатях Александра Невского. Далее вплоть до Дмитрия Донского всадники на печатях князей московской династии отсутствуют.

Ранний период бытования всадника в русской княжеской сфрагистике (1210-е – начало 1320-х годов) показывает, что в большинстве случаев это были изображения святых: св. Федор Тирон, св. Александр с мечом, св. Георгий Победоносец с плащом или с мечом (второй тип восходит к изображению св. Александра). Все всадники, кроме св. Дмитрия Солунского, вооруженного копьем, скачут вправо от зрителя. Светское изображение всадника принадлежит Александру Невскому и может быть двух типов: князь в короне с мечом (на печатях Александра) и князь с соколом (на печатях сына Александра – Андрея). В этом, по справедливому замечанию В.Л. Янина, прослеживается постепенная тенденция «заменить чисто духовные сюжеты иными сюжетами, не лишенными символики светской власти» [10. Т. 2. С. 23] (ср. [25. С. 461]).

Второй этап сфрагистической истории «московского» всадника, непосредственно связанный затем с нумизматикой, начался в период правления Дмитрия

Донского (1370–1380-е годы). Этот князь пользовался печатями разных типов: наиболее часто с изображением своего патронального святого Дмитрия Солунского на лицевой стороне и надписью на оборотной. Но Дмитрий Солунский мог быть и стоящим воином, и конным, держащим в руке меч. Во втором случае он был обращен влево от зрителя, то есть изображение печати, с одной стороны, повторяло соответствующую композицию печати Дмитрия Александровича, а с другой, было близко сфрагистическим изображениям святых всадников с мечом с печатей Юрия Даниловича и Александра Невского. На всех известных печатях потомков Дмитрия Донского, несущих изображения всадников, эти изображения повернуты вправо от зрителя, то есть в «традиционную», «классическую» сторону. Следовательно, можно думать, что только изображение св. Дмитрия Солунского – всадника на печатях имело такое характерное направление движения. Тем не менее, всадник на печатях Дмитрия Донского, во-первых, эпизодичен, а во-вторых, представляет собой изображение святого, а не светского воина.

Интересная ситуация наблюдается на печатях и монетах сыновей Дмитрия Донского. Существенно при этом, что на монетах самого Дмитрия всадника нет. Зато на монетах Василия I всадник, скачущий вправо от зрителя, встречается двух типов: это или сокольник, или всадник, вооруженный копьем, под копытами коня которого помещается или тамга, или изображение человеческой головы, или змия (дракона). Так в эмблематике всадника появляется драконоборческий сюжет. Причем это светские всадники. Среди печатей Василия I также известна печать с всадником – это всадник, едущий вправо от зрителя с копьем, направленным вниз. Разобрать, есть ли под копытами коня какое-либо изображение, сейчас уже невозможно, но, судя по аналогии с нумизматикой, какая-то фигура там быть могла. На монетах младшего брата Василия I, Юрия (Георгия) Галичского и Звенигородского (ум. в 1434 г.) также встречаются всадники – сокольник и змеборец, но относятся эти монеты к тому периоду, когда Юрий Дмитриевич титуловался великим князем. На других же монетах Юрия встречается иной сюжет: это всадник, скачущий влево от зрителя («нетрадиционное» направление движения) с поднятой над головой саблей, при этом голова коня обращена назад, то есть вправо. За фигурой всадника (т.е. справа от него) помещается голова дракона. Этот специфический вариант был, вероятно, отличительным сюжетом эмблематики Юрия Дмитриевича. На монетах других сыновей Дмитрия Донского, Андрея Можайского (ум. в 1432 г.) и Петра Дмитровского (ум. в 1428 г.) сюжеты с всадником близки подобным сюжетам монет Василия I – и на монетах Андрея Дмитриевича, и на монетах Петра Дмитриевича присутствуют изображения всадников-сокольников, на монетах Андрея Дмитриевича, кроме того, есть и змеборец, а на монетах Петра Дмитриевича – всадник с мечом и тамга под копытами коня. Направление движения во всех этих случаях «традиционное». Известные печати Юрия, Андрея и Петра Дмитриевичей изображений всадника не имеют. Таким образом, начиная с поколения сыновей Дмитрия Донского, всадник становится одним из символов княжеского рода. Во всех случаях он, вероятно, обозначал князя, так как представлял собой светское изображение. Основными типами этого изображения были сокольник (уже встречавшийся на печатях Андрея Александровича) и змеборец (новый сюжет со всадником, вооруженным копьем), на монетах дмитровского князя был также всадник с мечом, восходивший, по всей видимости, к одному из типов печатей Дмитрия Донского, а на монетах Юрия Дмитриевича появился специфический сюжет в оригинальной трактовке.

Кроме великокняжеской ветви московской династии всадник зафиксирован и на монетах князей боровско-серпуховской, младшей линии потомков Ивана Калиты. На монетах боровского князя Семена Владимировича (1410–1426) также имеется всадник-змеборец, обращенный вправо от зрителя, то есть тот же сюжет, что и на монетах Василия I.

В начале XV в. всадник появляется и на монетах князей Тверской династии, причем первоначально, как отметил А.А. Молчанов [25. С. 463], в уделах – Городенском и Кашинском. На монетах, чеканившихся в Городене от имени великого князя тверского Ивана Михайловича (ум. в 1425 г.) есть изображения сокольника (на монетах Ивана Михайловича, чеканившихся в Твери, были другие сюжеты). Подобные изображения встречаются и на монетах его младшего брата, кашинского князя Василия Михайловича (ум. после 1426 г.). Таким образом, на тверских монетах сокольник появляется примерно тогда же, что и на московских.

Какими были всадники на монетах и печатях последующих князей – потомков сыновей Дмитрия Донского, представителей Серпуховской и Тверской династий?

Сын Василия I, Василий II (1425–1462) чеканил монеты с всадником, вооруженным копьем (но без змия), или мечом, или всадником-сокольником. Причем среди монет, изображающих вооруженных всадников встречаются такие, где фигуры движутся в левую сторону от зрителя. По-видимому, это влияние сюжета с монет Юрия Дмитриевича, поскольку и на монетах Василия II он также присутствует (причем под копытами коня в этом случае появляется дракон). Таким образом, монеты Василия II демонстрируют почти весь спектр имевшихся вариантов. Среди печатей Василия II печати с изображением всадника с копьем или мечом (различить детали рисунка сейчас очень сложно) фиксируются при документах 1425 – начала 1430-х годов, т.е. самого первого периода его правления. В дальнейшем относительно эмблемы всадника в великокняжеской сфрагистике наступает значительный перерыв, вплоть до 1470-х годов, когда всадника-змееборца начинают помещать на своих печатях сын Василия II, Иван III (к этому же типу изображений относится и изображение змееборца на известной печати 1497 г.). На монетах Ивана III есть и всадник с мечом (саблей?), и всадник-змееборец, встречается и направление движения влево.

Сын Юрия Дмитриевича, Дмитрий Шемяка (великий князь в 1446–1447 гг., ум. в 1453 г.), чеканивший монеты с титулом великого князя, помещал на них всадника-змееборца. По-видимому, змееборец вообще был символом власти именно великого князя.

Оба сына Андрея Дмитриевича, Иван Можайский (ум. после 1471 г.) и Михаил Верейский (ум. в 1486 г.), также использовали эмблему всадника. На монетах Ивана Андреевича (который был союзником Дмитрия Шемяки) есть всадник-змееборец и сюжет с монет Юрия Дмитриевича, на монетах Михаила Андреевича – змееборец, сокольник и сюжет, восходящий к монетам Юрия Дмитриевича (с драконом под копытами коня всадника, так же, как и на некоторых монетах Василия II). Вооруженный всадник присутствует и на одном из трех типов сохранившихся печатей Ивана Андреевича.

В серпуховской династии всадник чеканился на монетах племянника Семена Владимировича – Василия Ярославича, князя боровского (ум. в 1483 г.). На них также имеется всадник-змееборец, а кроме того, и совершенно новый сюжет – всадник, скачущий в правую от зрителя сторону, но стреляющий из лука влево. Под копытами коня – тамга (плетенка). Один из двух типов известных печатей Василия Ярославича имеет изображение всадника с мечом или копьем, едущего вправо.

В тверской династии на монетах, чеканившихся сыном Ивана Михайловича, Александром Ивановичем в Городене (до 1425 г.), – всадник с мечом. На монетах сына Александра Ивановича, Бориса Александровича, великого князя тверского (ум. в 1461 г.), встречается два типа всадников: всадник с соколом и всадник с мечом; то же и на монетах его сына, последнего великого тверского князя Михаила Борисовича (1461–1485). На печатях Бориса Александровича – всадник с мечом. На печатях Михаила Борисовича – всадник с мечом, под копытами коня дракон.

Также всадник встречается на монетах князя Александра Федоровича Ярославского (ум. в 1471 г.) – всадник с саблей, на монетах князя Александра Ивановича Брюхатого, Суздальско-Нижегородского (ум. в 1418 г.) – всадник с соколом. Оба князя были родственниками московской династии: Александр Иванович был женат на сестре Василия II, а Александр Федорович был потомком Ивана Калиты (по линии одной из дочерей Калиты) [25. С. 463].

Сфрагистический и нумизматический материал свидетельствует, что общераспространенным у русских князей XV в. было изображение всадника-сокольника. Несколько позднее и первоначально как бы периферийно появляются изображения всадника с мечом в московской (сначала у Петра Дмитриевича) и тверской (с Александра Ивановича в Городене) династиях. Всадник-змеборец был исключительной «принадлежностью» потомков Ивана Калиты (в тверской династии и у князей других династий он не встречается). Иногда появлялись и такие оригинальные сюжеты, как всадник с саблей влево у Юрия Дмитриевича, «распространившийся» затем на Можайскую и московскую ветви, и всадник с луком у Василия Ярославича, князя боровского.

В целом изображения светских всадников на монетах и печатях князей появляются на рубеже XIV–XV вв., причем, возможно, одновременно как у московских, так и у боровских, и у тверских князей. Здесь, конечно, можно вспомнить и брак Василия I с Софьей Витовтовной, и тот факт, что Семен Боровский был сыном Елены Ольгердовны, и два брака князей тверской династии – первый брак Ивана Михайловича с сестрой Витовта и первый брак Василия Михайловича с дочерью киевского князя Владимира Ольгердовича. Таким образом, князья всех трех ветвей, начавшие на своих монетах чеканку изображений всадника, находились в непосредственном родстве с династией Гедиминовичей.

Однако для того, чтобы попытаться рассмотреть возможность заимствования, необходимо обратиться к литовскому сфрагистическому и нумизматическому материалу.

Как известно, в так называемых белорусско-литовских летописях: «Хронике Великого княжества Литовского и Жемайтского» (первая половина XVI в.), «Хронике Быховца» (середина – вторая половина XVI в.) принятие «погони» в качестве герба великих князей литовских отнесено ко времени керновского князя Наримунта (брата Довмонта, вторая половина XIII в.) – «Наримунт, когда сел на великом княжении литовском, то герб свой Китовраса оставил своей братии, а себе сделал герб – человека на коне с мечом. А тот герб означает взрослого государя, который может защищать свою родину мечом», причем герб этот описывается с указанием цветов и объяснением названия «погоня» («муж збройный» как бы гонит кого-то) [39. С. 32; 40. С. 48]. Густынская летопись относит появление литовской «погони» ко временам князя Витеня (начавшего править в Литве, по датировке этой летописи, в 1278 г.). Иными словами, летописные источники (впрочем, довольно поздние относительно описываемых ими событий) датируют возникновение «погони» как эмблемы литовских князей второй половиной XIII в. Однако имеющийся на сегодняшний день сфрагистический материал не подтверждает этих сведений. Первый князь литовского происхождения, на печатях которого присутствует конный воин – Наримунт Гедиминович (ум. в 1348 г.), в крещении носивший имя Глеб. На его печати 1330-х годов изображен всадник, скачущий вправо от зрителя [11. С. 408], – можно полагать, святой покровитель Наримунта – князь Глеб. Затем до конца XIV в. всадник на литовских княжеских печатях не встречается, так что неизвестно, насколько изображение на печати Наримунта можно связывать с дальнейшей традицией.

Снова всадники появляются на печатях внуков Гедимины (1316–1341), т.е. второго поколения его потомков. На печатях старшего сына Ольгерда от брака с тверской княжной Ульяной Александровной, Ягайло (ум. в 1434 г.), всадник за-

фиксирован на рубеже 1370–1380-х годов [37. № 8; 13. № 3; 35. Р. 59]. Это рыцарь в западноевропейских доспехах, держащий в правой руке меч и скачущий вправо от зрителя. С конца 1380-х годов, то есть после того, как Ягайло стал польским королем, на его печатях рыцарь, вооруженный мечом или копьем, со щитом, украшенным двойным крестом, скачет уже влево от зрителя. Такова, например, печать Ягайло с большим четверочастным гербом, во второй части которого помещена «погоня» [35. Р. 60]. На тронной печати Ягайло 1388 г. в литовском гербе под конем даже изображен дракон [13. № 21].

Скиргайло Ольгердович (ум. в 1396 г.), который княжил в Полоцке и Троках и до 1392 г. был наместником Ягайло в Литве (когда Ягайло уже был польским королем), с 1380-х годов использовал печати с изображением рыцаря с копьем и щитом, скачущего в левую от зрителя сторону. При этом на его печати 1394 г. на копье можно видеть банньер, а на щите двойной крест [35. Р. 71].

Корибут-Дмитрий Ольгердович (ум. ок. 1405 г.) на печати 1385–1386 гг. имел изображение всадника с нимбом над головой (?),двигающегося в правую от зрителя сторону и держащего вертикально направленное вверх копье [41. Т. 23; 29. С. 15]. По-видимому, это изображение св. Дмитрия – покровителя князя.

Печати Лугвеня-Семена Ольгердовича, князя мстиславского, также несут на себе изображение рыцаря: на печати 1379 г. он держит вертикально копье и движется влево от зрителя [35. Р. 96], на печати 1388–1389 гг. держит меч и движется вправо [29. С. 21; 42. С. 36].

На печати керновского князя Виганта-Александра Ольгердовича (ум. в 1392 г.) 1388 г. рыцарь, держащий в правой поднятой руке горизонтально меч, движется влево от зрителя [35. Р. 61].

Наконец, Свидригайло Ольгердович (великий князь литовский в 1430–1432 гг.; ум. в 1452 г.) на печати 1420 г. имел рыцаря с мечом, движущегося вправо [37. № 7], а на печати 1452 г. – рыцаря с мечом, движущегося влево [37. № 9] (ср. [13. № 10; 14. Р. 37]).

Очень интересна эволюция изображений на печатях двоюродного брата Ольгердовичей – Витовта (ум. в 1430 г.). На печати Витовта середины 1380-х годов рыцарь с мечом скачет вправо от зрителя [41. Т. 22; 13. № 4; 35. Р. 60]. На печатях конца 1390-х годов и начала – первого десятилетия XV в. – всадник с мечом движется влево от зрителя [41. Т. 23; 35. Р. 62]. Примерно с середины 1410-х годов и далее, вплоть до смерти Витовта, рыцарь с мечом и щитом на его печатях вновь движется вправо [41. Т. 22; 13. № 6–9; 14. Р. 35; 37. №№ 4, 10; 35. Р. 75]. Впервые, впрочем, такое движение зафиксировано еще на гербовой печати Витовта, где в четверочастном щите, во второй части, литовский рыцарь с мечом скачет вправо [41. Т. 23; 35. Р. 97] – очевидно, что этот герб был создан по образцу польского королевского герба Ягайло. Не вполне ясно, к какому конкретно времени относится создание тронной печати Витовта (между 1407 и 1430 г.), на которой сидящий на троне князь держит в левой руке щит с литовским рыцарем, скачущим влево от зрителя [41. Т. 22; 35. Р. 61], но этот пример не показателен, поскольку в данной сфрагистической композиции поворот движущейся фигуры к центральной фигуре князя на престоле выглядит совершенно оправданным (так же повернут к фигуре князя и смоленский медведь в другом щите).

На печати 1411 г. брата Витовта, Сигизмунда Кейстуовича (великий князь литовский в 1432–1440 гг.), всадник с мечом движется в левую от зрителя сторону [29. С. 21]. На печати 1433 г. сына Корибута, Сигизмунда Корибута (ум. в 1435 г.), всадник с мечом и щитом движется вправо [41. Т. 24].

На печатях 1438 г. сыновей Ягайло, короля Польши Владислава Варненчика (1434–1444) (четырёхчастный герб) и 1448 и 1454 гг. Казимира Ягеллончика (великий князь литовский в 1440–1492 гг.; польский король с 1447 г.), как и на печатях его потомков, «витис» с мечом в поднятой руке, направленным острием

вправо, движется влево [14. Р. 43–45]. Этот тип изображения и закрепляется в последующей литовской геральдике. Причем Владислав Варненчик, по-видимому, унаследовал от отца изображение дракона под конем, которое у Казимира и его потомков исчезло. Не мог ли дракон в данном случае означать статус верховного сюзерена Литвы – польского короля, в отличие от собственно великого князя литовского?

Как бы то ни было, разнообразие изображений всадника, выраженное, прежде всего, в его движении, заставляет усомниться в выводе Ю.Н. Бохана и И.И. Синчука о том, что «направление движения не является принципиальным отличием» [37. С. 269]. Напротив, в эволюции этого признака четко прослеживается определенная система, позволявшая в свое время М.В. Добужинскому назвать движение вправо от зрителя архаичным, а влево – новым [13. Р. 14]. Эволюция изображения литовского «витиса» на печатях обнаруживает следующую закономерность. По-видимому, движение всадника вправо от зрителя действительно было древнейшим. После 1386 г., т.е. того времени, когда Ягайло стал польским королем, оно изменилось на движение влево. Этому, вероятно, способствовало усвоение европейских геральдических традиций, где движение фигур осуществляется, как правило, в правую геральдическую сторону, то есть влево от зрителя. Под влиянием Ягайло и его родные и двоюродные братья Скиргайло, Витовт, Вигант-Александр, возможно, брат Витовта Сигизмунд приняли такой же поворот фигуры рыцаря. Он оставался господствующим до начала 1410-х годов, после чего Витовт возвращает архаичное направление движения всадника (оно зафиксировано еще на гербовой печати Витовта 1404 г., созданной по образцу королевской польской печати Ягайло). По-видимому, это было связано с укреплением самостоятельности Витовта в качестве полновластного правителя Литвы (возможно, в связи с закреплением за Витовтом Жемайтии), чьему сфрагистическому «примеру» последовал и Свидригайло.

После смерти Витовта и перехода впоследствии литовского великокняжеского престола к потомкам Ягайло «геральдический» вариант литовской «погони» возобладал окончательно.

Более сложная, по всей видимости, картина наблюдается при обращении к нумизматическому материалу. Так, согласно исследованиям В. Аляксеюнаса и Э. Ремецаса [43–44], насчитывается шесть разновидностей изображения всадника в нумизматике великого литовского князя Ягайло, впервые поместившего этот символ на монетах. Причем, как показал Э. Ремецас, в период ок. 1388–1390 гг. чеканились монеты с изображением всадника, скачущего влево от зрителя, а ок. 1390–1392 гг. – скачущего вправо (время чеканки монет некоторых разновидностей установить сложно) [44. С. 131–132]. Данный факт показывает, что временное бытование разных вариантов композиции одной и той же эмблемы в сфрагистике и нумизматике не было синхронным.

Как видим, основным атрибутом литовского рыцаря на печатях практически всегда оставался меч. Копье встречается значительно реже, и оно, как правило, направлено вперед и вверх (печати Ягайло, Скиргайло; изображение св. Дмитрия на печати Корибута не входит в этот контекст, так как представляет святого, а не светского всадника). Дракон под копытами коня известен только на печатях Ягайло (польского периода) и Владислава Варненчика, и то эта фигура не связана каким-либо действием с основной композицией.

Змеборческий сюжет встречается на монетах внука Гедимина, Константина Кориатовича, который в 1380-х годах был подольским князем. Но здесь всадник, движущийся в «правильную» геральдическую сторону, представляет собой св. Георгия Победоносца [45]. Аналогичный сюжет присутствует и на печати другого сына Кориата (ок. 1300 – ок. 1362 гг.) – Александра, княжившего на Волыни [41. Т. 24], почему и было высказано вполне обоснованное мнение о том, что

именно изображение св. Георгия, поражающего змия, и было родовой эмблемой этой ветви Гедиминовичей [45. С. 110].

Рассмотрев эмблему всадника на Руси и в Литве, можно, думается, убедиться в существенной разнице обеих изобразительных традиций. Если в Литве, как правило, всадник был вооружен мечом, то на Руси этот сюжет был первоначально периферийным, уступавшим по распространенности всаднику-сокольному и всаднику-змееборцу. В то же время у литовских князей эмблема светского всадника-змееборца не использовалась, хотя изображение дракона в одном из вариантов «погоны» и присутствовало. В возможный период заимствования, то есть на рубеже XIV–XV вв., направления движения литовского и русского всадников были противоположны. Таким образом, на мой взгляд, говорить о прямом заимствовании не приходится. Вероятно, имело место параллельное развитие сходных сюжетов в более-менее едином широком эмблематическом контексте, не исключавшем довольно заметных по своим различиям вариантов. На формирование же литовской конно-рыцарской эмблемы могли повлиять как сфрагистическая эмблематика соседних польских династий, так и местные ритуально-символические традиции, ставшие основой для инкорпорирования европейского рыцарского сюжета на литовскую почву.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Соболева Н.А.* Русские печати. М., 1991.
2. *Лакиер А.Б.* Русская геральдика. М., 1990.
3. *Арсеньев Ю.В.* Геральдика. Ковров, 1997.
4. *Орешиников А.В.* Русские монеты до 1547 года и материалы к русской нумизматике доцарского периода. Репринтное воспроизведение изд. 1896 г. М., 2006.
5. *Толстой И.И.* Монеты великого князя Василия Дмитриевича (1389–1425). СПб., 1911.
6. *Ильин А.А.* Классификация русских удельных монет. Л., 1940. Вып. 1.
7. *Федоров Г.Б.* Деньги Московского княжества времени Дмитрия Донского и Василия I (1359–1425) // Материалы и исследования по археологии Москвы. Т. II (=Материалы и исследования по археологии СССР. М.;Л., 1949. № 12).
8. *Мец Н.Д.* Монеты великого княжества Московского (1425–1462) // Труды ГИМ. Нумизматический сборник. М., 1974. Ч. III.
9. *Федоров-Давыдов Г.А.* Монеты Московской Руси. М., 1981.
10. *Янин В.Л.* Актовые печати Древней Руси. X–XV вв. М., 1970. Т. 1–2.
11. *Янин В.Л., Гайдуков П.Г.* Актовые печати Древней Руси X–XV вв. М., 1998. Т. 3.
12. *Gumowski M.* Pieczęcie książąt litewskich // Ateneum wileńskie. Chronicle 7, 1930, Notebook 3/4.
13. *Dobužinskis M.* Vytis. Kaunas, 1933.
14. *Ilgūnas (Vaivadiškis) J.* Lietuvos valstybės ženklų kilmė. Kaunas, 1938.
15. *Котляр Н.Ф.* Русско-литовские монеты XIV в. // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1970. Вып. 3.
16. *Соболева Н.А.* К вопросу о монетах Владимира Ольгердовича // Нумизматика и эпиграфика. М., 1970. Вып. 7.
17. *Remecas E.* Lietuvos numizmatikos bibliografija. 1815–1999. Vilnius, 2001.
18. *Sajauskas S., Kaubrys D.* Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatika. Vilnius, 1993.
19. *Ivanauskas E., Douchis R.J.* Coins of Lithuania 1386–1707. Vilnius, Columbia, 1999.
20. *Вилинбахов Г.В.* Всадник русского герба // Труды Государственного Эрмитажа. Л., 1981. Т. 21.
21. *Chernetsov A.V.* Types on Russian Coins of the XIV and XV Centuries: An iconographic study. Oxford, 1983.
22. *Чернецов А.В.* Феодальная эмблематика в чеканке русских городов XIV–XV вв. // Труды V Международного конгресса славянской археологии. М., 1987.
23. *Молчанов А.А., Смирнова М.Е.* Об изображении всадника на княжеских и республиканских печатях Великого Новгорода (Балтские истоки одного из сюжетов новгородской эмблематики XIII–XV вв.) // Тезисы докладов Секции нумизматики на научных декабрьских чтениях 1983 г., посвященных 100-летию экспозиции музея. 26–28 декабря 1983 г.
24. *Молчанов А.А.* Изображение всадника на печатях новгородских и московских князей XIII–XV вв. (Начальные этапы официального бытования одного из центральных сюжетов древнерусской феодальной эмблематики) // Культура и история Средневековой Руси. Тезисы конференции, посвященной 85-летию А.В. Арциховского. Новгород, 1987.
25. *Молчанов А.А.* Предыстория Московского герба // Древнейшее государство Восточной Европы. 2005. Рюриковичи и российская государственность. М., 2008.

26. *Таценко С.Н.* Предвестник феодальной войны (всадник на монетах Великого княжества Московского и его уделов) // Нумизматический альманах. № 2. 1999.
27. *Каменцева Е.И.* История и символика герба Москвы // Вестник геральдиста. № 1, 1990.
28. *Каменцева Е.И.* История и символика герба Москвы // «Пагоня» ў сэрцы – тваім і моім. Мінск, 1995.
29. *Цітоў А.* Наш сімвал – Пагоня: Шлях праз стагоддзі. Мінск, 1993.
30. *Хорошкевич А.Л.* Герб // Герб и флаг России X–XX вв. М., 1997.
31. *Кучкин В.А.* Происхождение русского двуглавого орла. М., 1999.
32. *Королев Г.И.* Всадник на печати новгородского князя Мстислава Мстиславича Удалого // Гербовед. М., 1997. № 17.
33. *Агоштон М.* Змеборец и двуглав: К проблеме формирования российской государственной символики. Сомбатхей, 2003.
34. *Агоштон М.* Великокняжеская печать 1497 г.: К истории формирования русской государственной символики. М., 2005.
35. *Rimša E.* Heraldry past to present. Vilnius, 2005.
36. *Rimša E.* The heraldry of Lithuania. Vilnius, 2008.
37. *Бохан Ю.Н., Синчук И.И.* Конное изображение на печатях литовских князей второй половины XIV–XV вв. // Восьмая Всероссийская нумизматическая конференция. Тезисы докладов и сообщений. М., 2000.
38. *Лутвина А.Ф., Успенский Ф.Б.* Выбор имени у русских князей в X–XVI вв. Династическая история сквозь призму антропоники. М., 2006.
39. ПСРЛ. М., 1975. Т. 32. Хроники Литовская и Жмойтская и Быховца.
40. Хроника Быховца. М., 1966.
41. *Vossberg F.A.* Siegel des Mittelalters von Polen, Lithauen, Schlesien, Pommern und Preussen. Berlin, 1854.
42. *Цітоў А.* Пячаткі старажытнай Беларусі. Нарысы сфрагістыкі. Мінск, 1993.
43. *Алексеюнас В.* К вопросу о монетах великого князя Литвы Ягайлы // Восьмая Всероссийская нумизматическая конференция. Москва, 17–21 апреля 2000 г. Тезисы докладов и сообщений. М., 2000.
44. *Ремецас Э.* Монеты Великого княжества Литовского чеканены Ягайло около 1388–1392 гг. // Международная нумизматическая конференция, посвященная 150-летию Национального музея Литвы. Тезисы докладов. Вильнюс, 26–28 апреля 2006 г. Вильнюс, 2006.
45. *Погорелец О.Г., Саввов Р.В.* Монеты подольского князя Константина Кориатовича (вторая половина XIV в.) // XIII Всероссийская нумизматическая конференция. Тезисы докладов и сообщений. М., 2005.



© 2011 г. Л.Н. ВИНОГРАДОВА

«РОДИЛА ОЛЕНЬКА РЕБЕНКА, БЕЗ РУК,
БЕЗ НОГ – ОДНА ГОЛОВЕНКА»:
ЯЙЦО В СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ И МАГИИ

Мифологическая трактовка яйца в народной культуре оказывается чрезвычайно многогранной и противоречивой: с одной стороны, это символ постоянно возобновляющейся жизни, а с другой – предмет, требующий осторожного обращения, так как из него может вылупиться опасное демоническое существо. В статье рассматриваются славянские верования и магия, связанные с яйцом.

The mythological concept of egg in the folk culture is very diverse and controversial indeed. On the one hand, this was the symbol of permanently resurrecting life, on the other – an object, which required very cautious treatment, inasmuch as a dangerous demonic creature might come out of it. The article considers Slavic beliefs and magic rituals, connected with the egg.

Ключевые слова: народная культура, мифология, этнолингвистика, славянские верования, символика предметного мира.

Яйцо включается в ряд предметов, принадлежащих одновременно сфере природы и сфере культуры, оно используется людьми и как продукт птицеводства, и как предмет магии, народных игр, как атрибут украшения домашнего интерьера, наряда ряженных и т.п. Согласно народным верованиям, яйцо (так же, как семя и зерно) является средоточием витальной силы, символом плодородия, непрерывного воспроизводства жизни, началом всех начал. Одно из наглядных свойств яйца – превращение предмета в живое существо определяет его основную культурную семантику, связанную с оппозицией жизнь/смерть. Мотив преодоления смерти через заключенную в яйцо жизнь отражается в ряде загадок (с отгадками ‘яйцо’ или ‘наседка и яйцо’): рус. «Живое родит мертвое, а мертвое родит живое»; «Белое, круглое, долго лежало, потом затрещало, и неживое живым стало»; укр. полес. «Два разы родицца, один раз умирае»; болг. «Живо роди мъртво, мъртво роди живо», «Седи каня, да се кланя, чека мъртви да живею» и под. Вместе с тем, яйцо воспринимается в народной культуре и как опасный предмет, контакт с которым требует особой осторожности и соблюдения ряда запретов: например, считалось, что из него может вылупиться демоническое существо; яйцо могло использоваться во вредоносной магии; оно часто получает негативную оценку в снотолкованиях. Как некое загадочное существо «без рук, без ног» яйцо изображается в русской загадке: «Родила Оленька ребёнка: без рук, без ног – одна головёнка».

Яйцо в космогонических легендах и фольклоре. Широко известный индоевропейский мотив о творении мира из яйца не находит свое-

Виноградова Людмила Николаевна – д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.

го прямого отражения в славянских этимологических преданиях, но может быть подтвержден единичными данными или реконструирован на основе некоторых фольклорных образов: например, в польских сказках о том, что земля возникла из большого яйца, лежавшего на вершине дерева [1. С. 39]; в русских волшебных сказках об утке, несущей золотые яйца, или о заморских царствах (золотом, серебряном, медном), каждое из которых было заключено тремя царевнами в три яйца и в таком виде перенесено в мир людей [2. С. 224–226]. В фольклоре южных славян сохранились представления о том, что яйцо – это миниатюрный эквивалент космоса или отдельных его частей, т.е. из яйца произошли все небесные тела: звезды, солнце, луна, земля. Ср. македонские детские припевки: «Времето е кокошка, звездите са яйцина – снесени от кокошка, цървени и шарени. Земјата е яйценце, живото е пиленце – снесено от яйценце, цървено и шарено» (Время – это курица, звезды – это яйца, снесенные курицей, красные и пестрые. Земля – это яйцо, жизнь – это цыпленок, вылупившийся из яйца, красного и пестрого) [3. С. 15]. Сближение образов небесных светил с яйцом часто встречается в болгарских игровых закличках: «Сънце ле, сънце ле / Богово яйценце» (Солнышко, солнышко, Божье яичко), а также в загадках о небе и звездах: «Пълно рашето с яйца» (Полное решето яиц), «Пълн таван сос яйца» (Чердак полный яиц). Оно выступает в роли дара-угощения солнцу в польских закличках, призванных прекратить дождь: «Świeć się, świeć, słoneczko! Dam ci jajeczko, / Jak kureczka zniesie na dębowym lesie. / Weźmij jajo do raju, / Niech się dusze radują» (Свети, свети, солнышко! Дам тебе яичко, когда курочка его снесет на дубовом лесу. Отнеси яйцо в рай, пусть души радуются) [1. С. 133].

В апокрифических легендах небо и земля уподобляются яйцу: скорлупа – это небо, пленка внутри скорлупы – облака, белок – вода, желток – земля. По некоторым демонологическим поверьям, пагубные для людей атмосферные осадки ведьмы производят, высиживая гусиные яйца, в каждом из которых заключены дождь, град, снег, непогода (карпато-укр., польск.).

О появлении людей из яйца повествуется в одной из украинских легенд, записанных в Галичине: Ева за свой грех была наказана Богом тем, что должна была после смерти на том свете ежедневно нести столько яиц, сколько умирало людей на земле за день. Эти яйца Бог разрезал надвое и бросал на землю, и тогда из одной половинки появлялись мальчики, а из другой – девочки, которые, подрастая, женились друг на друге. Если же одна из половинок пропадала (тонула в море, была съедена зверем), то партнер навсегда оставался без пары [4. С. 3].

Яйцо – это не только пространственная, но и временная модель единого целого. Об этом свидетельствуют образы мирового древа и яиц на нем в русских загадках о структуре года: «Выросло дерево от земли до неба. На этом дереве двенадцать сучков, на каждом сучке по четыре кошеля, в каждом кошеле по шесть яиц, а седьмое – красное» (загадка: двенадцать месяцев, четыре недели, шесть дней, седьмой день – воскресенье). Либо год загадывается через образ одного яйца, снесенного множеством птиц: «Двенадцать орлов, пятьдесят две галки, триста шестьдесят пять скворцов – одно яйцо снесли».

Согласно археологическим данным, глиняные предметы в форме куриного яйца (а также яичная скорлупа) были обнаружены в могильниках XI в. (Польша, р-н Куявского воев.). Куриные яйца, а также горшки с едой и черепа животных закладывались в основу строящегося дома в качестве жертвы (р-н Гданьска, Ополя; факты датированы XII–XIII вв.). В Полесье зафиксированы современные поверья, что строители могут заложить в основу дома либо монеты – «на доброе житье», либо яйцо – «на беду хозяевам» [5].

Символика яйца, определяемая его природными свойствами. Судя по мотивировкам магических действий, ритуальным приговорам, загадкам, в качестве наиболее значимых выступают в народной культуре такие

признаки яйца, как: шарообразная форма, цвет скорлупы или желтка, хрупкость внешней оболочки, способность катиться, заполненность неким (скрытым от взгляда) содержимым и некоторые другие. В загадках восточных славян отмечается внешний вид яйца, его непроницаемость, двусоставное содержимое: рус. «В одной дежке две приспешки», «В одной стеклянке болтается, а никак не смешается»; бел. брест. «Маленько, кругленько, ў сярэдзіне жоўтенько»; «Полна бочечка вина – ни окошечка, ни дна»; укр. чернигов. «У беленькой бочачки два разные вина».

Признак круглый/полный часто актуализируется в скотоводческой магии: домашний скот заставляли переступить через яйцо, «каб коровка была цэлы год круглая, наёдная, як тэе яичко» [6]; «чтобы принесла такое полное вымя, как заполнено яйцо» [7]. При начале полевых работ хозяева обливали лошадей водой, в которую опускали два яйца, чтобы животные были «круглыми, как яйцо» (рус. костром) [8. С. 185]. С тем же значением (полный, упитанный) используется эпитет «гладкий»: «Будь гладка, как яичко!», – говорили хозяева, поглаживая яйцом лошадь [9. С. 466]. При первом купании новорожденного в воду опускали яйцо, чтобы младенец скорее «округлился».

Однако по этому же признаку (круглая форма) яйцо входит в ряд других круглых предметов (плодов, овощей), которым приписывается опасное свойство вызывать град либо способствовать возникновению наростов, волдырей, опухолей на теле человека и животного. Поэтому в ряде случаев к яйцу относились с опаской и настороженностью. Так, при общей практике одаривать участников летних обходов яйцами, в некоторых селах восточной Сербии хозяева избегали давать их девушкам-«додолам», чтобы град не побил посевов [10. С. 142]. У сербов Воеводины (р-н Сремска Рача) не принято было одаривать овчаров и свинопасов яйцами, чтобы не появлялись нарывы и шишки на теле животных [11. С. 265]. По польским поверьям, у того, кому снятся яйца, появятся на теле наросты, «bo to okrugłe» (ибо это все круглое) [12. С. 168]. Беременные женщины остерегались носить за пазухой орехи и яйца, чтобы у новорожденного не было волдырей (бел. витеб.). Появление бородавок объяснялось тем, что человек смотрел, как курица несет яйца [13. С. 216]. Болгары использовали яйцо как заменитель материнской груди, когда надо было прекращать грудное вскармливание: ребенку давали попробовать вареное яйцо, говоря при этом: «Няма вече цица, има коко» (Нет больше цицки, есть яичко) [14. С. 144]. В сходной ситуации белорусы передавали младенцу в руки через окно вареное яйцо, чтобы он забыл материнскую грудь (полес. брест.).

В соответствии с магией уподобления считалось, что белая, чистая скорлупа цельного яйца способна была обеспечить белизну льна и конопли, если его при севе закопать в поле или положить в семена. Сеятель ржи, закончив работу, выпивал взятое с собой сырое яйцо, «шоб чысто жыто було (всходы без сорняков), як яйцэ» [15]. Яйцом болгары одаривали новорожденного с приговором: «Как е бялу яйцето, така и лицето ти да е бялу...» (Пусть лицо твоё будет белым, как белое яйцо) [14. С. 144]. При посадке картофеля в первую лунку закапывали яйцо, чтобы клубни выросли чистыми снаружи и белыми внутри (полес. брест.). По признаку цвета яйцо использовалось в молочной магии: у южных славян его подкладывали под дойное ведро при первом доении овец, чтобы молоко было жирным, кремовым по цвету. Белый цвет в его негативном значении соотносился с бельмом на глазах и слепотой. В некоторых болгарских селах (р-н Граово) запрещалось дарить пастухам овец яйца, чтобы не ослепли овцы. У карпатских овцеводов в период горного выпаса стада запрещалось бросать в костер остатки вареных яиц и скорлупу, «бо у худоби робийтси більма на очах» [16. С. 264]. Негативную оценку получают в народной культуре пестрые по окрасу яйца птиц (перепелки, индюшки, сороки, ласточки), контакт с которыми мог вызвать появление пятен на коже или высыпание веснушек.

В символике яйца преимущественно позитивную трактовку получает первый член оппозиции *ц е л ы й / р а з б и т ы й*. По белорусским поверьям, если при первом выгоне скота корова раздавит копытом положенное под порогом хлева яйцо, то волк съест это животное. Словаки тоже считали это плохой приметой; уцелевшее в такой ситуации яйцо отдавали нищему ради благополучия скота [17. С. 187]. В Белоруссии гадали о судьбе членов семьи: перебрасывали через крышу дома яйцо, сваренное в Фомино воскресенье; если оно разбивалось, это было предвестием смерти одного из домочадцев. В Полесье (гомел. лельчиц.) верили, что разбитое яйцо снится к смерти или к какой-то неприятности; ср. укр. житомир.: «Разбитое яйцо [во сне] – разбитая жизнь». По другим сведениям, разбитое яйцо расценивалось как положительный знак. Легкость, с какой разбивалось яйцо, служила метафорой легких родов. У карпатских русинов при выходе молодых после венчания из церкви сваха разбивала на пороге сырое яйцо, чтобы в будущем молодая рожала так же быстро, как вытекает содержимое яйца [18. С. 258]. В свадебном обряде Центрального Полесья невеста держала за пазухой во время венчания сырое яйцо, а входя в дом молодого специально сбрасывала его на пол со словами: «Як тое яйце разбилось, так у мене шоб дитя родилось» [19].

Другой вариант этой же оппозиции – *ц е л ы й / р а з р е з а н н ы й* касается свойств вареного яйца и проявляется в поверьях о том, что совместное поедание частей одного целого способствует установлению тесных связей, соединяющих членов сообщества, и помогает им в трудных обстоятельствах. Например, в Сочельник домочадцы делили между собой одно вареное яйцо, чтобы не теряться в лесу. Чтобы «закрепить» договор с лешим о его помощи в выпасе стада, пастух съедал одну половину яйца, а вторую оставлял в лесу для лесного «хозяина» (сев.-рус.) [20. С. 379]. Разрезание и складывание двух половинок яйца в сербской любовной магии было средством соединения партнеров: чтобы добиться ответной любви, парень разрезал надвое вареное яйцо, и половинки раскладывал по обеим сторонам дорожки на пути своей избранницы; после того, как она минует это место, парень складывал эти половинки и съедал их [21. С. 112].

Для общей символики яйца значимой считалась также его способность *к а т и т ь с я* (самостоятельно передвигаться в пространстве). В русских загадках яйцо выступает метафорой перекатывающейся бочки: «Катится бочка, нет на ней ни сучочка». Для того, чтобы маленький ребенок скорее начал ходить, белорусы Витебщины катили под его ножками куриное яйцо [22. С. 29]. Так же поступали жители восточной Болгарии, которые пускали катиться круглый хлеб и вареное яйцо из-под ног ребенка с приговором: «Както се търкалят питката и яйцето, така да търчи детето» (Как катится лепешка и яйцо, так пусть бегает и ребенок) [14. С. 306]. Таким же способом белорусы пытались изгнать из дома блох: они катили яйцо от угла до порога, чтобы «блохи выкатились из дома» [13. С. 289]. Образ легко выкатывающегося из курицы-несушки яйца выступает в заговорах, направленных на облегчение родов: роженицу обливали водой, которая стекала с первого яйца, снесенного молодой курицей; при этом говорили: «Как в курочке яичко не держится, так не лежал бы младенец Христов в утробе рабы Божией...» (с.-рус.) [23. С. 141].

Символика яйца, определяемая не столько его природными свойствами, сколько мифологическими воззрениями, раскрывается в народных представлениях о нем как о *в м е с т и л и щ е* некоего содержания (и зародыша жизни, и опасной демонической силы), которое может быть транслировано из замкнутого пространства вовне. Вместе с тем, вовнутрь яйца можно символически переместить и замкнуть там, започить нечто, что подлежит удалению, отправке в потусторонний мир. Эта семантика проявляется в волшебных сказках о Кошеч Бессмертном, смерть которого спрятана в яйце; о царь-девице, спрятавшей в яйце свою любовь: сказочный герой находит «любовь» за морем на дубе, на котором стоит сундук, в

нем – заяц, в зайце – утка, из утки он достает яйцо и добывает любовь героини. Такая же модель включения предметов одного в другой характерна для лечебных заговоров, основанных на сюжетной схеме: «на острове камень, на нем – руно, у руна – волк, в волке – заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо, а в нем гибель болезни, называемой *чимер*» (рус. орлов.) [24. № 58].

В славянской демонологии (прежде всего у западных славян) известен мотив выращивания «знающим» человеком из яйца особого демона: фантастического птицеподобного существа, черта-помощника, способного приносить своему хозяину ценности, отнятые из чужих домов. Мотив представлен не только в демонологических верованиях, но и в детском фольклоре. Ср. белорусскую детскую дразнилку: «Косый заиц нанёс яйц, вывёў дзяцей, косых чарцей» [25. № 76]. Такое демоническое существо могло вылупиться и само по себе, независимо от желания человека, из особого яйца: первого в летнем сезоне или последнего; снесенного в «нечистое» время или имеющего аномальные признаки (маленький размер, два желтка, отсутствие скорлупы и т.п.).

К категории яиц особой магической значимости (люди остерегались употреблять их в пищу) относилось первое яйцо, снесенное молодой курицей. Хозяйки откладывали его отдельно от других яиц; умывались в Юрьев день водой, слитой с такого яйца; берегли его до Пасхи; красили в числе первых; а после освящения в церкви оно считалось особенно целебным, наделенным свойствами оберега. С таким яйцом-«первенцем» совершались магические действия, призванные обеспечить яйценоскость домашней птицы на весь год. Его нельзя было брать голой рукой, а лишь рушником или фартуком, чтобы «не запаскудить» последующих яиц (бел.) [22. С. 169]. Считалось, что оно не годится для подкладывания под наседку, иначе все яйца в гнезде наседки стали бы болтунами. Но с его помощью можно было распознать колдунов, если взять его с собой на всенощную пасхальную службу (рус.) [26. С. 48]; обеспечить изобилие чистой воды, если бросить это яйцо в свой колодец (пол. краков.). Тот, кто сумеет зашить его себе под кожу в левую подмышку, станет колдуном (полес. чернигов.). Первое яйцо давали съесть засидевшейся в невестах девушке, чтобы она вышла замуж за первого, кто посватается (полес. чернигов.).

Магические свойства первого яйца повышались, если оно было снесено черной курицей. Такое яйцо высоко ценилось пастухами как защитное средство от волков (зап.-рус.); считалось эффективным при лечении «черной болезни» (эпилепсии) (словац.). При переезде в новое жилье яйцо черной курицы вкатывали в дом, прежде чем войти самим хозяевам, чтобы уберечь строение от молнии (бел. витеб.). Его сохраняли как символическое угощение для духов болезней. По словацким поверьям, чернокнижник (для сохранения своих колдовских свойств) не должен был есть ничего, кроме яиц от черной курицы и молока от черной коровы.

Последнее яйцо, снесенное старой курицей, называлось: рус. *выносок, последние, запёрдыш*; укр., бел. *зносок, спорышек*; полес. *остатнэ яйцо, зносочэк*; серб. *износак, запртак*; болг. ловеч. *малко яйце*. Жители Закарпатья называли его *зносок поганый*, так как «у том јајцэ чорт усыжује»; чтобы избавиться от него, хозяйка перебрасывала его через крышу дома или хлева [27. С. 205]. При общей негативной его оценке оно часто использовалось в лечебной и апотропейной магии, но основная его функция – выступать в роли вредоносного предмета для насылания порчи или служить колдунам и ведьмам средством для выведения демона-помощника. Само появление такого яйца в хозяйстве воспринималось как знак беды, его относили на перекресток и разбивали там (серб., болг.). В некоторых р-нах восточнославянской зоны именно это яйцо называлось «петушиным»: «Як кура знэсёт самое последнее яйцо, остатнэе, зносочэк – малэнэчко, як жолудь, то детям показывают и говорят, что это пэтушок снэс» [6].

Мифологическую трактовку получали также яйца с любыми отклонениями от нормы: без желтка, с двумя желтками, без скорлупы, слишком большие, с необычной формой скорлупы, а также яйца без зародыша, оставшиеся в гнезде наседки после того, как все птенцы уже вылупились (ср. их названия: рус. *холостое яйцо*, *недоносок*, *болтун*; укр. *бовтун*; бел. *боўтун*; серб. *мућак*). Такие яйца либо уничтожались, либо служили средством для тушения пожара, отгона градовых туч, берега строений от молнии. Считалось, что такие «недоноски» (их еще называли у белорусов – *свистуны*) появляются, если кто-либо из домочадцев нарушил запрет свистеть или играть на пастушьей дудке вблизи наседки, высиживающей яйца [13. С. 353]. Иногда уничтожение такого яйца мотивировалось необходимостью изгнать сидящего в нем змееподобного демона. Так, сербы р-на Драгачева швыряли левой рукой оземь яйцо-*мућак* со словами: «Ова рука крста нема, јаје-мућак пиле нема, ова ала места нема! Пуче мућак, пуче ала!» (У этой руки крста нет, у яйца-болтуна цыпленка нет, этой змеюке места нет! Лопнуло яйцо, лопнула и змеюка!) [28. С. 99]. Яйца с двумя желтками назывались: рус. *двойчатка*; полес. *двойнята*, *близнята*. Их не давали есть девочкам, чтобы они в замужестве не рожали двойню.

Яйца, снесенные (либо подложенные под наседку) в неблагоприятное время, воспринимались как потенциально опасные или как предвестие бед и несчастий в семье и хозяйстве. У западных славян таким неудачным временем для появления яиц на свет считался день св. Матее (24.II). Снесенные в этот день яйца хозяева помечали специальным знаком, чтобы не спутать с другими: их называли *matejča* (матеево яйцо), *krivu Matej* (кривой Матей); не подкладывали под наседку из опасения, что из него вылупится уродливый цыпленок [17. С. 133]. Аналогичные негативные свойства приписывались у западных и восточных славян *благовисним яйцям*, т.е. снесенным в праздник Благовещения: по одним поверьям, из них вылуплялись кривые, увечные цыплята, по другим – мог вылупиться черт в виде драчливого петуха [29. С. 54]; либо нечистый дух, именуемый *осинавець* (карпато-укр.) [30. С. 148]. Опасными для употребления в пищу и для подкладывания под наседку считались также яйца, снесенные в день св. Евдокии, на Троицу, на Русальной неделе (в.-слав.). Их выбрасывали в проточную воду либо употребляли в пищу после церковного освящения. У южных славян плохим временем для получения яиц считалась Тодорова неделя (первая неделя Великого поста): из «тодоровых» яиц якобы могли вылупиться хромые уродливые цыплята и опасные демонические существа – *тудурчета*, *каракончовци* [31. С. 102]. Как знак беды воспринималось яйцо, снесенное в Сочельник или на Рождество: в этом случае в хозяйстве ожидалась большая убытки (бел.) [32. С. 166].

Такие несвоевременно появившиеся яйца часто использовались в «черной магии». Они включались в ряд других вредоносных предметов (кости животных, угли, обгоревшие тряпки, клочки волос, перья птиц, шкурки змей, песок с могилы и т.п.), с помощью которых недоброжелатели насылали порчу на своих недругов. Если хозяева обнаруживали клубок связанных вместе опасных вещей либо одиноко лежащее яйцо, то считали это «подбросом» или «подкладом», сделанным недоброжелателями со злонамеренными целями: не прикасались к ним голой рукой, выносили на лопате подальше от дома. Верили, что это дело рук «ведьмарок», которые «бьрут яйцо да нясут яго до хлева. Як закопають у той гной, дак у коровы молоко пропадзе...» [33]. По массовым белорусским поверьям, крайне опасно подбирать и использовать в пищу *знаходное яйцо*, потому что оно может оказаться «сухим чортовым яйцом» (т.е. содержащим в себе черта) [22. С. 169].

Широко известен в лечебной практике всех славян знахарский прием *катать/выкатывать яйцо* по телу больного человека или животного, т.е. обкалывать больное место сырым яйцом, придерживая его ладонью. При этом яйцо выступало в роли особой «емкости», в которую можно было заключить (заточить)

болезнь и затем ее уничтожить. Идея передачи болезни яйцу отмечена во многих лечебных заговорных формулах. В Полесье наиболее результативным способом лечения детского испуга считалось, когда «дзязинный спуг ссылаецца на яйцэ» [15]. После того, как катавшееся по телу больного яйцо потяжелеет, поскольку – по белорусским поверьям – в него переходит болезнетворный дух, его разбивали и выливали в воду, чтобы по очертаниям белка постараться распознать вредителя [34. С. 102–103]. «Обкатанное» по больному яйцо выбрасывали в глухие места; в проточную воду; на перекресток; сжигали в печи; клали в дымоход; либо его относили на расходные дороги в надежде, что кто-нибудь подберет и тем самым заберет болезнь себе (в.-слав., ю.-слав.). Для лечения лихорадки к телу больного привязывали вареное яйцо, которое надо было носить какое-то время при себе, а затем выбросить через левое плечо на улицу со словами: «Як его яйцо пропадэ, так моя шухля [лихорадка] пропадэ» [6]. В селах брестско-гомельского пограничья верили, что лихорадка «ест» яйцо, привязанное к телу больного: эта болезнь якобы выедает скорлупу и белок, а желток оставляет не тронутым; тогда его нужно выбросить – и лихорадка уйдет [35]. Чтобы вывести бородавки, их терли только что снесенным яйцом, но в дальнейшем его уже нельзя было ни есть, ни подкладывать под наседку (бел.) [13. С. 386].

В качестве обрядовой пищи вареные и жареные яйца употреблялись в основном в пасхальном и семицко-троицком ритуальных комплексах; реже – в составе масленичных блюд. У южных славян и на Украине довольно широко известен обычай заговляться вареным яйцом накануне Великого поста. На территории Болгарии, Македонии, южной и юго-восточной Сербии в последний день масленицы между участниками общесемейной трапезы разыгрывалась традиционная забава, называемая *амкање* или *ламкање јајца* ('кусание яйца'): над столом подвешивалось на нити вареное очищенное яйцо (либо другое угощение – кусок пирога, халвы); оно раскачивалось из стороны в сторону, и каждый старался, не прикасаясь руками, откусить от него кусочек. Считалось, что исполнение этого обычая благотворно влияет на плодовитость скота и домашней птицы [10. С. 119–120, 462–466]. По польским поверьям, тот, кто во вторник масленичной недели съест вареное яйцо, летом будет находить много грибов.

Яйца входили в состав продуктов, которыми принято было одаривать участников весенне-летних обходных ритуалов; лиц, исполнявших определенные обрядовые и социальные функции (свадебные чины, баб-повитух, рожениц, кумовьев, пастухов общинного стада и др.). Яйца и яичница выступали в роли жертвы (угощения) в обычаях символического кормления мифологических персонажей. Например, если необходимо было вернуть потерявшийся скот, хозяйке советовали: «Идите, выйдите в лес, положите два яйца, леший яйца любит, на ростани левой рукой, не глядя и уходите» (рус. архангел.) [36. С. 49]. Яичницей следовало кормить духов-помощников, гномов, летающего змея, домовика и других демонов.

Многочисленны функции яйца в похоронно-поминальной обрядности: оно выступало и как жертва умершему, и как оберег от него, и как очистительное средство. Устраивая поминки по умершим детям в четверг после Пасхи белорусы Витебщины варили столько белых (не крашенных) яиц, сколько в семье было похоронено детей; семья ела под открытым небом, чтобы души детей видели это и благословляли своих родных [22. С. 244]. Яйца считались наиболее ценной милостыней и угощением для односельчан в поминальные дни: «Яйцо подашь – сорок милостыней, а кусок хлеба – одна милостыня» (рус. рязан.) [37. С. 428]. Для облегчения затянувшейся агонии на грудь умирающему клали яйцо (серб.). На том месте, где умер член семьи, родственники сразу после выноса гроба разбивали пустой горшок либо сырое яйцо, называемое у сербов *живо јаје* (серб., р-н Сврлига) [38. С. 118]. В качестве предупредительной меры против «хождения» нечистого покойника болгары в гроб ему клали вареное яйцо со словами: «Когато

яйцето упили, тогава и умрелият да оживее» (Когда из яйца вылупится цыпленок, тогда пусть и умерший оживет) [39. С. 86]. Крашенные яйца бросали в могилу при похоронах молодых неженатых людей (болг.).

В апотропейной магии яйцо обычно использовалось как защита от молнии, средство тушения пожара, а также при отгоне градовых туч. Когда роженица первый раз выходила из дома с новорожденным, ей давали с собой яйцо и посыпали мукой головку ребенка (серб.). Чтобы предотвратить выкидыш, беременной женщине рекомендовалось носить при себе сырое куриное яйцо (с.-рус.). У поляков оно служило охранительным средством грудных детей: на ночь в колыбель клали яйцо, чтобы не нападала богинка. Сербы тоже клали яйцо рядом с новорожденным как оберег против опасного лунного света, чтобы ребенка «не выпил месяц» (Скопска Котлина) [40. С. 413]. Яйцо могло служить и в роли отгона нечистой силы. Так, чтобы распознать в плохо растущем, слабоумном младенце замененного демонами подкидыша (ребенка нечистой силы), родители показывали ему самое крупное из гусиных яиц, и тогда слышали, как младенец впервые произносил фразу: «Уже семьдесят семь лет живу на свете, а такой бочки без обруча еще не видел», – после чего исчезал, а на его месте появлялся похищенный у людей нормальный ребенок (пол.) [41. С. 142].

Дополнительные магические свойства и особое символическое значение приписывались яйцам, освященным в церкви на Пасху.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Słownik stereotypów i symboli ludowych / Red. J. Bartmiński. Lublin, 1999. T. 1. Kosmos. Cz. 2. Ziemia. Woda. Podziemie.
2. Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. В 3-х т. М., 1985. Т. 3.
3. *Миков Л.* Български великенски обреден фолклор. София, 1990.
4. *Яворский Ю.А.* Памятники галицко-русской народной словесности. Киев, 1915. Вып. 1.
5. Полесский архив Института славяноведения РАН; с. Дяковичи Житковичского р-на Гомельской обл.
6. Полесский архив Института славяноведения РАН; с. Ковнятин Пинского р-на Брестской обл.
7. Полесский архив Института славяноведения РАН; с. Верхний Теребежов Столинского р-на Брестской обл.
8. *Журавлев А.Ф.* Домашний скот в поверьях и магии восточных славян. Этнографические и этнолингвистические очерки. М., 1994.
9. *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т. М., 2004. Т. 4.
10. *Плотникова А.А.* Этнолингвистическая география Южной Славии. М., 2004.
11. *Босић М.* Годишњи обичаји Срба у Војводини. Нови Сад, 1996.
12. *Niebrzegowska St.* Polski sennik ludowy. Lublin, 1996.
13. *Federowski M.* Lud Białoruski na Rusi Litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877–1905. Kraków, 1897. T. 1: Wiara, wierzenia i przesady ludu z okolic Wołkowyska, Stonima, Lidy i Sokółki.
14. *Седакова И.А.* Балканские мотивы в языке и культуре болгар. М., 2007.
15. Полесский архив Института славяноведения РАН; с. Замощье Лельчицкого р-на Гомельской обл.
16. Славянский и балканский фольклор. Этногенетическая общность и типологические параллели. М., 1984.
17. *Horváthová E.* Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava, 1986.
18. *Богатырев П.Г.* Вопросы теории народного искусства. М., 1971.
19. Полесский архив Института славяноведения РАН; с. Тхорин Овручского р-на Житомирской обл.
20. *Криничная Н.А.* Русская народная мифологическая проза: Истоки и полисемантизм образов. СПб., 2001. Т. 1. Былички, бывальщины, легенды, поверья о духах-«хозяевах».
21. *Раденковић Љ.* Символика света у народној магији Јужних Словена. Ниш, 1996.
22. Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах / Собрал в Витебской Белоруссии Н. Я. Никифоровский. Витебск, 1897.
23. *Зеленин Д.К.* Избранные труды. Статьи по духовной культуре. М., 1994.
24. *Попов Г.* Русская народно-бытовая медицина. По материалам Этнографического бюро князя В.Н. Тенишева. СПб., 1903.

25. Белорусские песни, собранные П. В. Шейном // Записки русского географического общества. 1873. Т. 5.
26. *Зернова А.В.* Материалы по сельскохозяйственной магии в Дмитровском уезде // Советская этнография. 1932. № 3.
27. Концепт движения в языке и культуре. М., 1996.
28. *Толстые Н.И.* и *С.М.* Заметки по славянскому язычеству. Защита от града в Полесье // Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982.
29. Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. Київ, 1991.
30. *Хобзей Н.* Гуцульська міфологія: Етнолінгвістичний словник. Львів, 2002.
31. *Попов Р.* Светци близнаци в българския народен календар. София, 1991.
32. *Крачковский Ю.Ф.* Быт западно-русского селянина. М., 1874.
33. Полесский архив Института славяноведения РАН; с. Вербовичи Наровлянского р-на Гомельской обл.
34. Полесские заговоры (в записях 1970–1990-х гг.) / Сост., подгот. текстов и коммент. Т.А. Агапкиной, Е.Е. Левкиевской, А.Л. Топоркова. М., 2003.
35. Полесский архив Института славяноведения РАН; с. Золотуха Калинковичского р-на Гомельской обл.
36. Мифологические рассказы и легенды Русского Севера / Сост. О.А. Черепанова. СПб., 1996.
37. *Морозов И.А., Слепцова И.С., Гилярова Н.Н., Чижикова Л.Н.* Рязанская традиционная культура первой половины XX века: Шацкий этнодиалектный словарь. Рязань, 2001.
38. *Петровић С.* Културна историја Сврљига. Ниш; Сврљиг, 1992. Књ. 1: Митологија, магија и обичаји.
39. *Вакарелски Х.* Български погребални обичаи. Сравнително изучаване. София, 1990.
40. *Филиповић М.* Различита етнолошка грађа // Српски етнографски зборник. Београд, 1967. Књ. 80.
41. Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. Kraków, 1878. Т. 2.



© 2011 г. Т.А. АГАПКИНА, О.В. БЕЛОВА

ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА В ОБРЯДНОСТИ И ФОЛЬКЛОРЕ СЛАВЯН

Пасхальные яйца, изготовление которых известно во всех славянских традициях, представляют собой ритуальный символ, использовавшийся во всех пасхальных обычаях, обрядах и играх, а также в течение всего года – в апотропеических, очистительных, продуцирующих, прогностических и других целях. В статье анализируется материал, связанный с символикой пасхальных яиц в праздничных ритуалах и поверьях славян, а также рассматриваются народные легенды о происхождении пасхальных яиц.

Easter eggs, which were inherent to all Slavic traditions, are a ritual symbol, used in all Easter practices, rituals and games and – all the year round – applied for protective, purgative, productive, prognostic and other purposes. The article analysis the material related to the symbolic meaning of Easter eggs in the Slavic festive rituals and beliefs and considers the plots of Slavic folk legends about the origin of Easter eggs.

Ключевые слова: славянские языки, этнолингвистика, фольклор, традиционная духовная культура.

Пасхальные яйца, изготовление которых известно во всех славянских традициях, представляют собой ритуальный символ, использовавшийся во всех пасхальных обычаях, обрядах и играх, а также впоследствии в течение года – в апотропеических, очистительных, продуцирующих, прогностических и других целях. Такое всеобъемлющее значение этого символа привело, в частности, к тому, что мотивы пасхальных яиц проникли даже в названия Пасхи (напр., чеш. *červené svátky*, *vaječné svátky* «красные праздники», «яичные праздники»). Необычайно богата и разнообразна и терминология самих крашеных пасхальных яиц, ср.: рус. *крашеные*, *христосские*; укр. *крашенки*, *красные*, *чирвоныє*, *писанки-малёванки*, *писанки-копанки*; з.-укр. *галунки*; бел. *валачобныя*; словац. *písané*, *škrabané*, *rysované*, *kraslice*; чеш. *kraslice*, *červené vejce*, *malované vejce*, *straky*, *párky*, *rejsky*, *dracoupy*; пол. *malowankę*; болг. *писани*, *поткитани*, *шарени перашки*; серб. *перашке*, *руменице*; с.-х. *pisanice*; словен., словац., пол., з.-укр. *pisanki* и мн. др.

Пасхальные яйца, как и другая пасхальная пища, получали в обрядах, верованиях и легендах символические толкования, связанные в том числе с христианским содержанием Пасхи.

Агапкина Татьяна Алексеевна – д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.

Белова Ольга Владиславовна – д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.

Статья написана в рамках работы над проектом «Фольклорные нарративы белорусско-русского пограничья в контексте внутренних и внешних связей» (БРФФИ–РГНФ, 11-24-01002a/bel).

Пасхальные яйца красили, а также расписывали узорами и изображениями, в основном с помощью нанесенного на яйцо воска; кроме того, яйцо покрывали краской, а рисунок процарапывали по ней; наклеивали на яйца вырезанные из бумаги картинки, обматывали цветными нитками и в таком виде варили, чтобы перенести «ниточный» узор на яйцо; помещали на яйцах надписи религиозного и светского содержания и т.д. Разнообразные способы украшения пасхальных яиц отражены в их названиях, а также в разработанной, особенно у западных славян, терминологии самих изображений. Основным был красный цвет (получаемый из натуральных красителей типа луковой шелухи), однако яйца красили и в другие цвета (желтый, зеленый, голубой, фиолетовый и т.п.). Изредка можно встретить дифференциацию цвета в зависимости от адресата: для мужчин красили красные яйца, для женщин – желтые (серб.). В темные цвета (синий и черный) красили яйца к поминальным дням пасхального цикла, а также в семьях, где в течение года кто-то умер (тогда яйца вообще могли не красить). Кроме массового крашения и расписывания яиц, практиковалось расписывание яиц для отдельных категорий лиц – девушки делали красивые яйца для своих избранников, молодые жены – для родственников мужа в новой семье и т.д. В ряде мест, например в Карпатах, яйца часто красили не везде, а лишь в домах, где были девушки на выданье или дети. Жители юго-западной Сербии, напротив, считали, что если не покрасить яйца, то они испортятся.

Красили яйца накануне Пасхи, начиная со Страстного вторника, однако в основном в Страстные четверг и субботу, называемую у сербов Боснии *Шарена субота* [1. С. 368], а в других местах – «Красная суббота»: полес. *Красная суббота*, серб. *Црвена суббота*; редко – в Страстную пятницу; единичны случаи, когда яйца красили утром на Пасху и даже в пасхальный понедельник. Поскольку расписывание писанок требовало значительно большего времени, их начинали делать с середины Великого поста.

Обычай красить яйца, обмениваться ими, использовать их в обрядах, а также играть с ними в целом охватывает период от Пасхи до Троицы и даже петровского заговенья, ср. с.-в.-рус. хронимы *Яичный мясоед*, *Красильный мясоед* ‘период с Пасхи до петровского поста’, *Яичное заговенье* ‘петровское заговенье’. Специально красили яйца к Фомину воскресенью и Красной горке (рус.), Юрьеву дню (балк.-слав.), Радунице и Проводам (в.-слав.), Троице, а также к другим праздникам и ритуалам. В западной Болгарии в понедельник 2-й недели по Пасхе совершался ритуальный выезд хозяина на пахоту, для чего специально пекли лепешку и красили три яйца. Перед выездом хозяин разбивал яйца о рога украшенного зеленой и цветами быка, разбрасывал куски в разные стороны и кормил быка яйцом [2. С. 148].

Яйца о с в я щ а л и в церкви, обычно в субботу, во время крестного хода, иногда утром на Пасху. В балканославянских традициях освящение крашеных яиц встречается не повсеместно. Освящали, как правило, всегда несколько яиц, чаще всего три (в том числе и по числу праздничных дней), пять (по количеству ран Христа), иногда одно. В ряде мест западной Славии (например, у чехов, поляков, на западе Белоруссии и в Карпатах) освящали часто белые некрашенные яйца, а иногда и очищенные (чтобы не выбрасывать освященную скорлупу), которыми и разговлялись, в то время как крашеные яйца использовали в ритуальных целях, но не освящали. Белорусы Виленской губ. освящали пищу в специальном коробе, где среди прочего лежало одно очищенное яйцо, которое и приносили домой для разговления, а также несколько крашеных, которые отдавали священнику в качестве платы за освящение.

Украинцы Полтавщины верили, что освящать красные яйца – это Божья заповедь; по их мнению, можно освящать и яйца, крашеные в другие цвета, кроме темных, ибо им «нечистый радуется» [3. С. 204]. Сербые Воеводины запрещали

красить яйца в Страстную пятницу, полагая, что, розданные в память о мертвых, они покажутся им черными. Сербь в Косово считали, что во время крашения яиц женщины должны молчать, чтобы те не полопались. В Лесковацком Поморавье хозяйки выгоняли детей на улицу, пока красили яйца, чтобы дети, удивившись при виде крашенных яиц, не могли их взглянуть.

Первое пасхальное яйцо. У болгар, сербов и македонцев утром в Страстной четверг, реже в Страстную пятницу, первое окрашенное (и часто снесенное в тот же день до восхода солнца) яйцо (иногда 3, 5, 7 или 9 яиц) клали на цветном или красном полотне на крыше, во дворе или на поле с восточной стороны, чтобы его осветило и согрело солнце – болг. *показват към слънцето* (показывает солнцу) [4. С. 221]. Болгары в р-не Самокова, а также банатские болгары относили такое яйцо в церковь и оставляли у алтаря, чтобы «яйцо услышало 12 евангелий» и потом «хранило» дом от зла; верили, что за год такое яйцо постепенно пустеет, а на следующую Пасху опять наполняется [5. С. 217]. Сербь Лесковацкого Поморавья, опуская в краску первое яйцо, произносили магическую формулу: «Црвена кокошка, црвен петал, црвено пиле, црвено јајце» (Красная курица, красный петух, красный цыпленок, красное яйцо) [6. С. 376]. Сербь в Косово на Средопостие чертили на яйце воском три креста и хранили его до Страстного четверга, когда красили это яйцо. У болгар Каменицы первое окрашенное в Страстной четверг яйцо клали в соломенное гнездо на крышу до Пасхи, объясняя детям, что его снес петух. После соответствующих ритуалов такое первое пасхальное яйцо хранили в доме (обычно за иконой, реже на чердаке) и использовали в разнообразных лечебных, хозяйственных и иных целях (закапывали в посевы и виноградники, скармливали скоту, использовали в качестве лекарства, отгоняли им тучу и т.д.). Сербь называли это первое пасхальное яйцо *страшник*, *стражар*, *чувар*, т.е. ‘сторож, тот, кто охраняет’, *чуваркућа* ‘тот, кто охраняет дом’, *чуварак*, *чувадар*, *измамак*, *полог*; македонцы – *господово јајце*, *јајцето на дедо господ*, *ристосово јајце*. На востоке Сербии на таком яйце рисовали воском крест и в Юрьев день обносили его вокруг села, чтобы град не уничтожил посевы. Сербь Воеводины делили между собой и съедали это яйцо как оберег от болезней, прежде всего лихорадки, причем часто это делали еще накануне Пасхи, обычно в Страстную пятницу (так же поступали и чехи с первым некрашеным яйцом, сваренным вечером в Страстной четверг). Сербь и болгары проводили первым крашеным яйцом по лицу ребенка, чтобы был румяным, и желали: «Црвен бел како перашка» (Румяный и белый как крашенка) [7. С. 132], «Да сте бели и червени до другия Великден!» (Чтобы были белые и румяные до следующей Пасхи!) [8. С. 333]. Скорлупу этих первых пасхальных яиц болгары, а также сербы Буджака смешивали с навозом и прилепляли над воротами двора и хлева, чтобы все (свои и чужие, живые и мертвые) видели, что в доме живет христианская семья, что наступила Пасха, а также для защиты от зла, как оберег от града, мышей, домашних насекомых и т.д.; ее также использовали при изготовлении куклы Герман в обрядах вызывания дождя (болг.).

Сербь, македонцы и болгары верили, что яйцо, снесенное и окрашенное в Страстной четверг, не портится шесть недель, в течение года или даже трех лет; кое-где верили даже, что оно появляется уже как вареное и потому не портится. Аналогичные представления известны русским старообрядцам Литвы: если освященное яйцо положить на божницу и не трогать в течение года, то оно сохранится свежим и им можно будет разговеться через год; верили также, что такое яйцо, даже если портится, то после возгласа в церкви «Христос воскрес» «исцеляется», и т.д. Жители Тульской губ. полагали, что не портится первое «христосованное» яйцо, и потому берегли его до следующей Пасхи.

У русских Владимирской губ. с первым пасхальным яйцом, полученным при христосовании, обходили весь дом, произнося у всех окон и дверей «Христос воскрес!» и полагая, что это охранит его от воров; по этому первому яйцу загадыва-

ли на предстоящий год: лопнувшее и испортившееся яйцо предвещало неблагополучие, и наоборот.

С разговления освященным яйцом (не всегда крашеным) начинался пасхальный завтрак, знаменующий окончание Великого поста и переход к скоромной пище. Иногда каждый из домочадцев съедал по одному яйцу вместе с куском кулича и творожной «пасхой». Параллельно всем славянам широко известен обычай делить первое освященное или крашеное яйцо между всеми членами семьи, собравшимися за пасхальным столом, наподобие того, как делили между ними первое пасхальное кулич. У балканских славян строго соблюдался запрет есть первое яйцо целиком. Болгары (Пиянец) красили всего три яйца: одно берегли весь год на случай града, а два других съедали, поделив между домочадцами. Чехи часто съедали первое красное яйцо не дома, а на улице, на солнце. В Полесье практиковался иногда обычай съесть первое пасхальное яйцо целиком, вместе со скорлупой (чтобы не страдать от жажды во время жатвы, не бояться грома и т.д.).

Повсеместно распространенный обычай делить с домочадцами первое пасхальное яйцо получил символическое толкование, особенно у западных славян и на сопредельных территориях. Считалось, что, оказавшись в затруднительном положении (если заблудишься в лесу, если в глаз попадет соринка, если запутаются нитки при тканье, если начнет пугать нечистая сила), надо вспомнить, с кем делил пасхальное яйцо, и тогда ситуация благополучно разрешится (укр., бел., пол., словац., морав., чеш.).

Яйца были самым распространенным пасхальным подарком, ср. обычай дарить друг другу пасхальные яйца при встрече, христосовании и хождении в гости в течение пасхальной недели (словенцы верили, что тот, кто сможет собрать по крайней мере девять таких яиц из девяти дворов, доживет до следующей Пасхи). В Гевгелии (макед.) женщины раздавали яйца детям своих подруг, «да се радуве» (чтобы они радовались) [9. С. 61]. Дети дарили пасхальные яйца своим крестным родителям, молодожены – свадебным кумовьям и другим участникам прошедшей свадьбы, а также родителям и родственникам; женщины – повитухам, принимавшим у них роды; ими одаривали священника; их относили на кладбище, подавали нищим и т.п. Практически каждый, пришедший в гости на Пасху, получал в подарок крашеное яйцо. В разных славянских традициях известны обходы домов (своего рода пасхальное колядование, совершаемое детьми и молодыми людьми) для сбора пасхальных яиц, к которым добавлялись другие пасхальные угощения.

Пасхальные яйца служили также формой оплаты и благодарности за выполнение услуг и обязанностей. В Страстную субботу пасхальные яйца дарили детям за приношение «нового» огня из церкви (з.-слав.), парням за сооружение качелей и заготовку дров для костров (в.-слав.), волочбникам (бел.).

Запреты, касающиеся пасхальных яиц, были широко известны балканским славянам. Болгары в Граово остерегались дарить яйца пастухам овец, чтобы овцы не слепли; жители юго-восточной Сербии не брали в руки пасхальных яиц в первый день Пасхи, чтобы овцы не страдали от шишек, нарывов и чирьев; в Среме из тех же соображений пасхальных яиц не давали хозяевам, которые держат свиней, а болгары по тем же причинам – от чирьев на теле – запрещали есть пасхальные яйца целыми, настаивая на том, чтобы делить их между членами семьи. Красные яйца сербы остерегались давать девушкам во время месячных, а дарили им яйца других цветов, чтобы у них хорошо стиралось белье, запачканное менструальной кровью. В Сербии, в семьях, где в течение года появилась молодая сноха, на Пасху иногда ничего не раздавали из дома, в том числе не подавали крашеные яйца нищим.

Пасхальные яйца были важнейшим элементом пасхальных обрядов, ср. восточнославянский (преимущественно девичий) обычай

умываться «с красного пасхального яйца», чтобы быть красивыми; южнославянский девичий обычай качаться в Юрьев день на качелях, повешенных на молодом дереве, держа за пазухой красное яйцо, чтобы в течение года быть здоровой и румяной. У лужичан, кашубов, поляков Поморья, западных украинцев, чехов в конце поста или в пасхальный понедельник дети находили в саду и в поле фигурные хлебцы, крашенные яйца, которые якобы снес заяц или петух и которые на самом деле родители подкладывали туда накануне. В Рязанской губ. в первую Пасху после наступления у девушки первых месячных на нее надевали поневу, и при этом подружки девушки дарили ей по яйцу. Во Владимирской губ. при пасхальном обходе с иконами на стол в каждом доме ставили кадку с зерном, в которое закапывали пасхальные яйца; тот, кто внес в дом икону, искал в кадке яйцо и, найдя, брал его себе, а зерном из этой кадки хозяева позже засевали.

Пасхальное яйцо входило в круг мифологических и фольклорных сюжетов пасхального периода, ср. поверье о необходимости одарить домового на Пасху крашеным яйцом (рус.); практику класть пасхальные яйца в гроб умершему на Страстной или пасхальной неделях (серб.); волынскую быличку о том, как в Навский четверг старик пошел ночью в церковь и увидел там собравшихся мертвецов, отмечавших свою Пасху и державших в руках пасхальные яйца, заполненные кострицей [10. С. 356].

Пасхальные яйца были обязательным атрибутом пасхальных поминальных обычаев. У восточных и южных славян основным эпизодом пасхальных поминовений было «разговление» усопших (на Пасху, на Фоминой неделе), которое выражалось главным образом в выкладывании на могилы крашенных яиц, а у балканских славян – также пасхальных калачей с запеченными внутрь яйцами.

У восточных славян к Проведам и Радунце специально красили яйца, причем обычно не в красный, а в желтый или зеленый цвета (так же яйца красили и к поминальной троичкой субботе). В эти дни на кладбище взаимно угощались яйцами, подавали их нищим и оставляли на могилах, ср. также обычаи закапывать яйца в могилы, привязывать их к могильному кресту; катать яйца по могильной насыпи (иногда трижды крест-накрест), биться пасхальными яйцами. По свидетельству из Полтавской губ., пасхальные яйца считались самым предпочтительным даром умершему: «Из крашанки найкращи помынки. У яечку сорок помынкив» [3. С. 206].

Характерная для Балкан традиция поминовений на Страстной и пасхальной неделях нашла отражение в обычае отнести в эти дни на могилы крашенные яйца или раздавать их в память об умерших. На юге Болгарии и в Македонии умершим сообщали о наступлении праздника в 1-й день Пасхи, непосредственно после церковной службы. Болгары Кюстендильского края, помещая в пасхальное утро над воротами двора скорлупу первого крашеного яйца, полагали, что души умерших, которые будут идти в этот день по селу, увидят скорлупу и вспомнят: «Верно, днеска било Велиоден» (Верно, сегодня Пасха) [11. С. 390]. В Македонии женщины во время пасхальной службы ходили на кладбище, зажигали там свечи и оставляли красные пасхальные яйца, сообщая мертвым о наступлении Пасхи; в Скопской котлине это делали на 2-й день Пасхи. Болгары в пасхальную субботу, называемую иногда *Червена събота*, *Червените одуши* («красная суббота», «красные задушницы»), часто вторично красили яйца, ходили на кладбище и раздавали пасхальные яйца в память об умерших. В Шумадии родственники приносили на кладбище на пасхальной неделе столько яиц, сколько семейных могил на кладбище, и складывали все принесенные яйца на могилу последнего умершего в семье.

Словаки Закарпатья украшали на Пасху могилы хвойными ветками и клали на них яйца и пасхальную выпечку. В Кракове в пасхальный вторник местные жи-

тели собирались на легендарной могиле Крака, где происходили игры, отдаленно напоминающие ритуальные поединки, в том числе и перебрасывание пасхальными яйцами.

Жители Волыни бросали скорлупу крашеных яиц в воду на Пасху, полагая, что к пасхальному четвергу, когда Бог выпускает предков на землю, она донесет до усопших весть о воскресении Христа, и тогда наступит «их» Навская Пасха, ср. болгарский обычай кидать скорлупу пасхальных яиц в реку, чтобы она доплыла до предков. По поверьям западных украинцев, пущенная в Страстную субботу или 1-й день Пасхи по воде скорлупа к Фомину воскресенью доплывает до страны мифических *рахманов*, которые празднуют свою «Рахманскую Пасху».

Пасхальные яйца также широко использовались в земледельческих обрядах, прежде всего во время традиционных (на Юрьев день и Вознесение) обрядовых «ожиданий в жито». На поле приносили остатки освященной пасхальной пищи, в том числе крашеные яйца; у русских во время таких выходов на Троицу девушки устраивали в поле традиционную яичницу, водили хороводы и, если дело происходило вблизи поля, катали по нему яйца или подбрасывали их. У болгар во время обходов в Юрьев день в поле закапывали яйцо, а после жатвы выкапывали и гадали по нему: если оно осталось полным, год обещал быть урожайным, и наоборот. В Македонии в Юрьев день парни и девушки шли на поле с самодельными (из веток и трав) крестами, зажигали там пасхальные свечи и катали по полю первое окрашенное к Пасхе яйцо, «за да би се тркалат свалниците жито» (чтобы катилось жито валунами), после чего закапывали его в землю [12. С. 238]. Погужане подбрасывали яйца на поле, чтобы пшеница была высокой. Болгары в р-не Благоевграда катали по комнате первое пасхальное яйцо и говорили: «Како се търкала яйцето, така да се вие слънцето около къщата» (Как катается яйцо, так чтобы вращалось солнце вокруг дома) [13. С. 42].

В молодежных обычаях одаривание парней крашеными яйцами на Пасху было способом выражения симпатии к ним со стороны девушек. В районе Будеёвиц парни получали на Пасху от своих девушек так называемый *uzel* – связанную в кусок ткани пасхальную выпечку, а также крашеные и расписанные яйца. У чехов Дарувара парни и девушки обменивались крашеными яйцами, выражая тем самым взаимную симпатию. Однако чаще такие подарки были формой благодарности парням за те или иные оказанные девушкам услуги или знаки внимания. У поляков, словаков, гуцулов и западных украинцев широко практиковался молодежный обычай обливать водой девушек в пасхальный (так называемый обливанный) понедельник или же стегать их зелеными ветками в этот же день, в ответ на что девушки одаривали парней крашеными яйцами. У словаков в Татрах парни на Светлой неделе выставляли у себя в окнах крашенки или шоколадные яйца, полученные от девушек в благодарность за эти пасхальные обливания; получивший больше подарков пользовался большим почетом. У поляков в окр. Жешува парни на Пасху, гордясь и хвастаясь друг перед другом полученными от девушек подарками, делали большой венок, куда вставляли все полученные крашенки, и вешали его снаружи над своим окном. У балканских славян девушки, обычно в Юрьев день, давали парням крашеные пасхальные яйца в благодарность за то, что те качали их на качелях.

Часто этот обмен знаками внимания был разделен значительным промежутком времени: парни развлекали или одаривали девушек на масленицу, а девушки парней – на Пасху. В Заонежье на ярмарке в 1-е воскресенье Великого поста парни дарили девушкам крашеные деревянные ложки, а те на Пасху отдаривали их крашеными яйцами. Во Владимирской губ. во время масленичных гуляний парни угощали девушек сладостями, за что на Пасху девушки должны были одарить парней яйцами, а не отдаривших прогоняли с гуляний. В Северном Белозерье девушки дарили парням на Пасху и Троицу крашеные яйца, тем самым платя им за

то, что парни катали их в санях на масленицу. На Львовщине в масленичное заговенье парни угощали девушек пивом, а за это девушки дарили им на Пасху писанки; если же парень не участвовал в масленичных забавах, то девушка говорила ему: «Я не пила твоего пивыци, ти не будеш їв мого ййци» [14. С. 333].

Пасхальные яйца в о б ы ч а я х, к а с а ю щ и х с я м о л о д о ж е н о в. У в о с т о ч н ы х и ю ж н ы х с л а в я н к П а с х е и п о с л е д у ю щ и м п р а з д н и к а м б ы л и п р и у р о ч е н ы о б ы ч а и, п о с в я щ е н н ы е а д а п т а ц и и м о л о д ы х с у п р у ж е с к и х п а р в н о в о м д л я н и х с т а т у с е. Б о л ь ш у ю р о л ь в э т и х о б ы ч а я х и г р а л и п а с х а л ь н ы е я й ц а. В о в р е м я р у с с к о г о п о с в я т и т е л ь н о г о о б р ы а д «в ь ю н и ш н и к», и с п о л н я е м о г о в п е р в о е п о с л е П а с х и в о с к р е с е н ь е, п р о и с х о д и л о в е л и ч а н и е м о л о д ы х г р у п п а м и о б х о д н и к о в, к о т о р ы х п о о к о н ч а н и и в е л и ч а н и я м о л о д а я о д а р и в а л а и у г o щ а л а: м у ж ч и н п о и л а в и н о м и л и б р а г о й, а ж е н щ и н а м д а в а л а п а с х а л ь н ы е я й ц а и п р я н и к и. У б а л к а н с к и х с л а в я н п о s л е с в а д ь б ы в м я с о е д м о л о д ы е ж е н щ и н ы с п е ц и а л ь н о р а с п и с ы в а л и к П а s х e я й ц a д л я р о д и т е л е й и к р е с т н ы х, с в а д е б н ы х ч и н о в и б л и з к и х р о д с т в е н н и к о в и р а з н о с и л и и х п o д о м а м, а в o т в e т п о л у ч а л и п р и г o т o в л e н н ы е д л я н и х п л e т e н ы е п a s х a л ь н ы е к a л a ч и, я й ц a и и н ы е п o д a p k и (с е р б., б о л г.). У с е р б о в п е р в ы й в ы х о д м o л o д o й в o б щ e с т в o в с o п р o в o ж д e н и и с в e к р o в и ч а с т o п р o и с х o д и л н a П a s х у в o в р e м я o б щ e г o с б o p a, т a м, г д e в o д и л и х o p o в o д ы: м o л o д k a в м e с т e с o с в e k p o в ь ю o б х o д и л a з д e с ь в c e x п р и с у т c t в у ю щ и х м у ж ч и н, д a p я к a ж d o м у п a s х a л ь н ы е я й c a.

И г р ы с п a s х a л ь н ы м и я й ц a м и б ы л и с a м ы м м a c c o в ы м и p a c п p o c t p a н н ы м п a s х a л ь н ы м p a з в л e ч e н и e м. К a к и д р у г и е п a s х a л ь н ы е o б ы ч a и, o н и п p o д o л ж a л и с ь и н o г d a д o п e t p o в c k o г o з a г o в e н ь я. Э т и и г p ы б ы л и п р и в и л e г и e й p a з н ы х п o л o в o з p a c t н ы х г р у п п (и н o г d a т o л ь k o м у ж ч и н и ж e н щ и н, c т a p и k o в, м o л o д e ж и б p a ч н o г o в o з p a c t a, д e т e й) и л и o o б щ e c t в a в ц e л o м. И г p a л и к a к я й ц a м и, к p a ш e н ы м и п o д П a s х у, т a к и т e м и, к o т o р ы e k p a c и л и п o з д н e e, н a п p и м e p к Т p o и ц e. И г p ы c п a s х a л ь н ы м и я й c a м и y c t p a и в a л и в o б щ e c t в e н н ы х м e c t a x: з a с e л o м н a м e c t e т p a d и ц и o n н ы х г у л ь я н и й, н a г л a в н o й п л o щ a d и c e л a, y ц e p k в и и т. d. Д л я o б e c п e ч e н и я y д a ч и в и г p e и г p o k и н e p e d k o п p и б e г a л и к п o м o щ и o б м a н a и л и м a г и и. В p ь e д e м e c t, o c o б e н н o н a з a п a д e С л a в и и, д л я и г p и c п o л ь з o в a л и o б ы ч н ы е я й c a, н e o c в ь a щ e н н ы е и д a ж e н e k p a ш e н ы e.

О с н o в н o й, и з в e c t н o й в c e м c л a в я н a м и г p o й б ы л o б и т ь e п a s х a л ь н ы м и я й c a м и, к o г d a д в o e и г p a ю щ и х, з a ж a в в к y л a к e п o я й c y, o d н o в p e м e n н o д o л ж н ы б ы л и y д a p и т ь я й c o м o я й c o, c н a ч a л a o д н и м к o н ц o м, п o т o м д р у г и м; т o т, ч ь e я й c o o c т a н e т c ь ц e л ы м, c ч и т a л c ь п o б e д и т e л e м и з a б и p a л c e б e я й c o, п p и n a д л e ж a в ш e e c o п e p н и к y. Э т y и г p y н a з ы в a л и: p y c. б и т ь я й c a, б и т ь c ь я й c a м и, и г p a т ь ў б и т k и, к o к a т ь c ь, c т y k a т ь c ь, щ e л k a т ь c ь, т ю к a т ь; y к p. б і т и с я, г у л ь я т ь н a в б и т k и; c p. б e л. б і т k a ‘я й c o, к o т o р ы м б и л и с ь н a П a s х у’; y к p. ч e р н и г o в. Ў б и т k и ‘п e р в ы й д e н ь П a s х и’; б o л г. б o p e н и т o, ч y k a n e, c p. т a k ж e б o p a k, к љ ц o k, к љ з a ч ‘c a м o e c и л ь н o e я й c o, к o т o p o e н и k т o н e c м o г p a з б и т ь’, к л y k a p e ц, к a ч o p ‘я й c o п o т в e p ж e, к o т o p o e c п e ц и a л ь н o в ы б и p a ю т, ч т o б ы б и т ь c ь н a П a s х у’; c e р б. т y ц a њ e, к љ o ц a њ e, к p и k a њ e; х o p в. t u c a n j e n a o d n o s, б o c a n j e; c л o в e н. t u r c a n j e, б и j e n j e; ч e ш. c i k a n í, t u k a n í; п o л. t h u c z e n i e. Я й c a д л я э т o й и г p ы в ы б и p a л и o c o б e н н o т щ a т e л ь н o, п p и э т o м и н o г d a, a к k y p a т н o п p o б и в c o p л y п y я й c a, в ы н и м a л и e г o c o д e р ж и м o e и з a c ы п a л и в н y т ь п e c o k и л и з a л и в a л и c м o л y, ч т o б ы п o л y ч и т ь я й c a п o k p e п ч e и o d o л e т ь c o п e p н и k o в. В Д a л м a ц и и, n a п p и м e p, п a р н и п p и б e p e г a л и д л я и г p п e p в o e c н e c e n н o e к y p и ц e й я й c o, т a k н a з ы в a e м ы й p r o n o s a k, c ч и т a в ш e e c ь c a м ы м к p e п k и м. Ж и т e л и С т p a н d ж и в e р и л и, ч т o в л a d e л e ц c a м o г o к p e п k o г o п a s х a л ь н o г o я й c a б y д e т з d o p o в в т e ч e н и e г o d a. У в o c т o ч н ы х c л a в я н в c t p e ч a л c ь o б ы ч a й б и т ь c ь п a s х a л ь н ы м и я й c a м и н a м o г и л a x. Б o л г a p ы в P o d o п a x в п e p и o д в e c e н н e й z a c y x и c н e т e p п e н и e м ж d a л и П a s х и, п o л a г a я, ч т o c т y k п a s х a л ь н ы х я й c «o т п и p a e т» д o ж d ь.

Д р у г и м т и п o м и г p c п a s х a л ь н ы м и я й c a м и б ы л и p a з н o o б p a з н ы е ф o p м ы к a т a н и я я й c, к o т o р ы e ш и p o k o и з в e c t н ы в o c т o ч н ы м c л a в я н a м и n a з a п a д e С л a в и и, н o y б a л k a н c k и х c л a в я н в c t p e ч a л и c ь к p a й н e p e d k o. П a s х a л ь н ы е я й c a к a т a л и п o p o в н o й

земле или с горки вниз, стремясь откатить его как можно дальше или же попасть яйцом в небольшие лунки в земле; катали по деревянным лоткам или выкопанным в земле желобкам; катали рукой, битой или мячом, сшитым из кожи или сваленным из шерсти (рус.); выстраивали яйца в ряд и старались другим яйцом или мячом «выбить» яйцо соперника и т.д. Такие игры назвались: рус. *яйца катать*, *катать мячком в яйца*, *в катки*; ср. рус. *каток* ‘специальный мяч для катания и выбивания яиц’; с.-рус. *катальные праздники* ‘весенние праздники, когда катали яйца’; укр. *гуляти навкотьки*, *ковтати ся*, *грати ся в покотюхи/в котючки*; пол. *kunanie*; чеш. *šňkání*, *válení*; хорв. *valaju jajma*, *valjukanje*; словен. *rolkanje*, *trkljanje*, *valinčanje*; болг. *размятване яйца* и др., ср. болг. *Разметан понеделник* ‘2-й день Пасхи, когда молодежь катала яйца’: парни и девушки выходили в этот день на поляну, становились двумя группами друг напротив друга и катали друг другу крашенные яйца; считалось, что это обеспечит посевам урожай и защиту от града [15. С. 121].

Третьим вариантом игры, известным значительно реже, в основном у чехов, хорватов, словенцев, был обычай «колоть/сечь» яйца, для чего играющий стремился попасть металлической монетой, иногда специально заточенной, по яйцу, лежащему на земле или находящемуся в руках у другого игрока; попавший монетой в яйцо брал его себе [16. S. 155]. Игра называлась: чеш. *sekání*, словен. *sekanje*.

Встречались и более редкие формы, например русские варианты игры с угадыванием, прятаньем и поиском яиц и др.

Вторичное использование пасхальных яиц. Как ритуальный и сакральный предмет, пасхальные яйца бросают в огонь при пожаре; в течение года хранят на божнице за иконой или на чердаке, чтобы яйцо оберегало дом от грозы; машут таким яйцом при приближении градовой тучи (серб.); закапывают на поле в посевы и кладут в хозяйственные постройки от грозы, птиц и полевых вредителей; подкладывают под порог при первом выгоне скота и в пчельники, чтобы было больше меда; оглаживают им скотину, чтобы была здоровой; кладут в посевное зерно, а также в коконы шелковичных червей (балк.-слав.); скармливают скотине; болгары кладут пасхальные яйца под посуду, в которую первый раз в Юрьев день доят овец; сербы – под наседку, чтобы лучше сидела на яйцах; опускают в воду, в которой купают детей; используют в народной медицине и ветеринарии, а также гадают: если оно треснет, значит, в доме кто-то болен (болг.); кормят пасхальными яйцами заболевшую скотину и домашнюю птицу; ищут с пасхальным яйцом пропавшую в лесу скотину (рус.) и т.д.

Легенды о происхождении пасхальных яиц. Согласно народным представлениям, обычаи с пасхальными яйцами (прежде всего крашение яиц) соотносились с центральной идеей праздника, отмечающего Воскресение Христа из мертвых, подобное появлению живого птенца из мертвого яйца (укр., банат.-болг., серб.); обычай расписывать и красить яйца в красный цвет – с темой крови Христовой; освящение пяти яиц – с пятью ранами Христа (словен.); а также были связаны с прекращением поста и переходом к скоромной пище, с многочисленными ритуалами Пасхи и всей праздничной атрибутикой.

У сербов в области Поповац бытовало поверье, что яйца были любимой пищей Христа, и с того времени, как Христос восстал из гроба, все яйца покраснели; от этого и происходит обычай красить пасхальные яйца в красный цвет. Раскрашенные яйца люди принесли в подарок младенцу-Христу (гуцул.); расписное яйцо принесла в дар Христу «Мария Магдалина» – она была очень бедна и не могла подарить новорожденному Спасителю ничего другого (укр. винниц.); первые расписные яйца изготовила Богоматерь как игрушки для маленького Иисуса (укр. полтав.). Когда Спасителя ввели на распятие, он изнемог под тяжестью креста; проходивший мимо с корзиной яиц крестьянин пожалел его, поставил корзину и

помог ему нести крест. Возвратившись с горы, крестьянин увидел, что все яйца оказались окрашенными и расписанными (укр. харьков., закарпат., подол., пол.).

Согласно польским и гуцульским легендам, крашеные пасхальные яйца призваны были отвлечь преследователей Христа, а также служили выкупом за тело Христа. Ангелы, чтобы отвлечь евреев от преследования Христа, рассыпали перед ними писанки (пол.). Еврейки, желая отвлечь своих мужей от преследования Христа, стали рисовать на яйцах разные картинки и показывать мужчинам (пол.). Гуцулы рассказывали, что в ночь накануне распятия Богородица расписывала яйца, чтобы отнести их Пилату и выкупить своего Сына. Но утром по дороге она узнала, что Иисуса уже казнили, – упала без чувств, а писанки раскатились по всему свету (ср. сходный сюжет в Галиции).

Сербы Воеводины, украинцы и поляки связывали происхождение обычая с воспоминаниями о побивании Христа камнями. Люди кидали в Христа камни, а камни превращались в красные яйца (воеводин.). Евреи бросали в Христа камнями: ударится камень об одежду – превратится в *писанку*, ударится о грудь – превратится в *крашенку*. Св. Петр собрал яйца, а потом раздал людям; так возник обычай красить яйца (укр., киев.; ср. сходный сюжет в Прикарпатье, у поляков Силезии). Когда Христос шел на муки, «жиди та всякі недовірки спокушали» его: набрали камней в пелену и спросили – что в ней? «Крашеное и расписное», – ответил Христос. Евреи открыли пелену; оказалось, что там *крашенки* и *писанки* (Умань; [17. С. 262]). После воскресения Христа камни от его гробницы рассыпались по всему свету, от ударов друг о друга на них появились узоры – так возникли пасхальные яйца (пол. силез.).

Часто легенды связывали происхождение обычая с кровью Христовой и слезами Богоматери. Из каждой капли крови, пролитой Христом на кресте, образовалась крашенка; те крашенки, на которые упали слезы Богородицы, стоявшей у креста, превратились в писанки (гуцул.). Чаще всего предписание красить пасхальные яйца в красный цвет объясняется тем, что «Христа распяли, и кроў бяжала – и таким красным цветом, “кровью”, яечки красили» ([18], гомел., Дубровка); «Яйца красят – то Иисуса Христа кров така красна тикла» ([18], житомир., Новая Рудня); «На Пасху, это что – Христос воскрес от своих мучений [...] Тут его душа воскресает, то есть вот это как бы символ крови Христовой. Это бабушка так говорила, что яйца в красный, ни в какой цвет другой у нас не красят» ([19], архангел., Печниково); «Яйца красные должны быть, под цвет крови» (рус. прикам., [20. С. 114]). Евреи били распятого на кресте Иисуса, и тело его стало красносиним от побоев; поэтому и пасхальные яйца красят в эти цвета ([21. № 288(1). Л. 37], болг., Михайловградско). По легенде из Прикамья, когда Иисуса сняли с распятия, у него из пробитых ладоней текла кровь; чтобы унять ее, Христос взял в руки комок снега, и «потом стали красным яйца красить, как снежок» [20. С. 124]. Первые писанки раскрасила Божья Мать и принесла их в дар Пилату, чтобы он смилостивился над Христом. Расписывая яйца, она плакала, слезы капали на писанки, поэтому гуцулы и сейчас на своих писанках рисуют «цятки», похожие на слезы (укр., [22. С. 524]).

Красные яйца часто трактовались в легендах как свидетельство чуда воскресения. В знак чуда Христос дал раскрашенное яйцо воинам, охранявшим его могилу (укр. подол.), служанке, чтобы она объявила хозяевам о чуде (рус. владимир.). Согласно гуцульской легенде, когда Христос воскрес, Божья Мать изготовила «галунку» (расписное яйцо), дала девочке-еврейке и велела бежать с этим яйцом и кричать, что Христос воскрес; евреи удивились, ведь они уже погребли Христа и могилу приваляли камнем; но оказалось, что камень отвернут, а стражники окаменели со страху. Оставленные Богородицей на могиле Христа яйца покраснели после Воскресения (в.-серб.). Яйца, которые торговец нес на базар, стали красными в знак подтверждения известия о Воскресении (болг.; укр. чернигов.;

бел. витеб.) [22. С. 522–523, 525]. Легенда из окрестностей Винницы повествует: «Шлы тры жыдивки на ярмарок продаваты яйца, а йидна из ных поставыла кошык з яйцамы на землю и сама заснула коло него; просыпається – а там пысанкы та крашанкы» [23. С. 17]. Ср. легенду с брянско-черниговского пограничья: «Як мучили Спасителя, жены-мироносицы там были. В воскресенье он воскрес. Одна женщина на базаре не поверила: каже, он не дышал уже на кресте. Пока яечки мои не станут красными (она торговала яйцами), не поверю. Они и покраснели тут же» ([18], брян., Чёлхов). Любопытный вариант легенды о происхождении пасхальных яиц был записан у русских старообрядцев Литвы. Два сотрапезника заспорили – правда ли, что Христос воскрес? «Вот, [...] ели эту курицу; [...] уже она скушана была, токо кости одни оставши [...] але откуда [...] сила Божья! – запела, как петух, и им положила яичко красное на столе [...] А вот, значит, Бог им показал чудо, силу свою...» [24. С. 26].

Накануне Пасхи Богородица пекла блины и красила яйца, с радостью предчувствуя воскресение Христа ([19], архангел., Тихманьга). На белорусско-украинском пограничье «игра солнца» на Пасху объясняется тем, что «на сонце будучь красить яйца»: «Из-за лесу выходиць сонце, такое красна-красное... От стол у сонце стоить и била скацирка чущь-чущь не закрывае ножки у стола [...] И вроде котица к нас розовое яичко [по этому столу] и назад котица. А потом голубое. Перекачиваеца туда, а потом назад. А потом другой цвет [...] То Божая Маци красиць яйца на Пасху» ([18], гомел., Стодоличи). В Брестской обл. красные пасхальные яйца – это подарки Христа детям: «Когда Хрыстос ходыў, то за ним дети бегалы, а вин йих угошчаў разными яичкамы краснымы» ([18], брест., Заболотье).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Sarajevo, 1951. Knj. 7.
2. Фолклор и народни обичаи от Ботевград. Ботевград, 1968.
3. Милорадович В.П. Житье-бытье лубенского крестьянина // Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. Київ, 1991.
4. Капанци: Бит и культура на старото българско население в Североизточна България. Етнографски и езикови проучвания. София, 1985.
5. Известия на семинара по славянска филология при Университета в София. София, 1948. Т. 8–9.
6. Борћевич Д. Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави. Београд, 1958.
7. Српски етнографски зборник. Београд, 1910. Књ. 16.
8. Странджа. Материална и духовна култура. София, 1996.
9. Тановић Ст. Српски народни обичаји у Ђевђелијској Кази // Српски етнографски зборник. Београд, 1927. Књ. 40.
10. Пуриевич В. Нечто из обычаев и поверьев волынских крестьян Луцкого у. // Волынские губ. вед. 1866. № 43.
11. Захариев Й. Кюстендилско краище // Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. София, 1918. Кн. 32.
12. Македонски фолклор. Скопје, 1973. Год. 6/12.
13. Миков Л. Български великденски обреден фолклор. София, 1990.
14. Матеріяли до українсько-руської етнології й антропології. Львів, 1929. Т. 21–22.
15. Етнография на България. София, 1985. Т. 3. Духовна култура.
16. Kuret N. Praznično leto Slovencev. Celje, 1965. D. 1.
17. Воронай О. Звичаї нашого народу. Київ, 1993.
18. Полесский архив Ин-та славяноведения РАН (Москва).
19. Каргопольский архив Российского государственного гуманитарного ун-та РАН (Москва).
20. Черных А.В. Русский народный календарь в Прикамье. Праздники и обряды конца XIX – середины XX в. Пермь, 2006. Ч. I. Весна, лето, осень.
21. Архив Института фольклора Болгарской Академии наук (София, Болгария).
22. «Народная Библия»: Восточнославянские этиологические легенды / Сост. и коммент. О.В. Беловой. М., 2004.
23. Гречаевский А. О крашанках и писанках // Киевская старина. 1904. № 4.
24. По заветам старины. Мифологические сказания, заговоры, поверья, бытовая магия старообрядцев Литвы / Изд. подгот. Ю.А. Новиков. СПб., 2005.



© 2011 г. М.М. ВАЛЕНЦОВА

УЗЕЛ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ СЛАВЯН

В статье на большом фактическом материале разных славянских традиций, относящемся к различным фрагментам традиционной культуры, описываются семантика и функции узла, который в народной культуре оценивается амбивалентно и используется как для положительного воздействия на людей, их отношения и природу, так и для отрицательного.

The article explores the semantics and functions of knot, which, in the traditional culture of all Slavic peoples, is considered as ambiguous and is used both for positive influence on people, their relations and nature, and for negative one. The research is based on the materials relating to various fragments of the folk culture of different Slavic peoples.

Ключевые слова: этнолингвистика, этнография, традиционная духовная культура, славистика, фольклор.

В народной культуре славян узел служил знаком остановки, скрепления и овладения чем-либо. Такое его символическое значение основано на том, что узел являлся результатом завязывания как магического действия, символически обозначающего замыкание обрядового и личного пространства. Например, завязав на юбке особым образом узел, женщина, идя в лес, могла быть уверена, что не встретит лешего, но если этот узел она не развяжет прежде, чем вернется домой, то в доме появится нечистый дух вроде гнома – «скршитек» (*skřitek*) (морав. [1. S. 287]).

Узел оценивается двойственно и имеет как положительное, так и отрицательное значение. Важную роль при завязывании и развязывании узла играли цель, способ, время, место совершения этих действий. В основе значения узла лежит намерение, с которым он завязывался, выраженное в мыслях или словах. Он мог служить оберегом, если сделан «на добро», им можно удержать, привязать счастье, урожай, плодородие, удачу. Но он также мог служить и способом наведения порчи, если при его завязывании думали и желали злое. Тогда вместе с узлом можно было передать человеку болезнь, наслать порчу, беду. Поэтому каждый узел, неизвестно кем завязанный, считался опасным, а завязанный собственноручно с благими пожеланиями – полезным. Например, в Смоленской губ. перед важным делом завязывали на нитке узлы, клали нить на порог и произносили: «Как етый вузил завязын, так у нас, рабов Божьих, дела [...] сышлось бы», после чего можно было отправляться по делам [2. С. 172].

Как охранительный талисман, оберег против порчи и нечистой силы узел закреплял здоровье, благополучие или божественную силу при человеке, его носящем, служил преградой для болезней, порчи и нечистой силы. С целью

Валенцова Марина Михайловна – канд. филол. наук, научный сотрудник Института славяноведения РАН.

оберега носили нити с завязанными на них узлами (предпочтительно красные) на руке, на пальце, на шее или на поясе под одеждой. С той же целью использовали также сеть, на которой много узлов. Вообще, ношение узла-амулета (*науза*) – один из старинных способов избавления от болезней, он осуждается во многих древнерусских поучениях: «[...] принимали [...] некая бесовская наузы и носили их на себе», «немошь волжбою лечат и наузы (наузами) [...]», «в воспоминание страстей Христовых в пяток великий узолцы себе по числу евангелий вяжут [...] шесть лет да не причастятся» и др. Наузы часто состояли из простой нитки с узлами (видимо, с «завязанными» в них словами заговора) или из различных привязок, надеваемых на шею: с травами, кореньями или другими магическими снадобьями (углем, солью, змеиной головой или кусочком кожи, другими предметами). Позже в наузы стали завязывать освященные предметы, молитвы, но особенно часто ладан, отчего они стали называться ладанками [2. С. 177].

Чтобы противостоять возможному сглазу (особенно в переходные моменты человеческой жизни) и отнять у колдунов силу, перед свадьбой подруги невесты, отправляясь к жениху с подарками, брали с собой суровую нитку, которую невеста тайком пряла особым, магическим способом и завязывала на ней шесть узлов «наотмашь», т.е. от себя: первые два делала на пороге избы, другие два – на пороге сеней, остальные – у ворот (бел.) [3]. Во время свадьбы для защиты невесты от сглаза ей под одежду надевали рыболовную сеть либо подпоясывали длинной ниткой, на которой делали как можно больше узлов, навязывали на ее пояс 40 узелков с чтением сорока молитв «Богородице, дево...». Также и жених, и все поезжане опоясывались сетью или вязаными поясами, веря, что колдун не сможет им навредить, пока не распутает бесчисленных узлов сети или пока ему не удастся снять с человека его пояс (рус.). Вообще пояс в народной культуре считался хранилищем силы, мощи человека, он замыкал внутреннее пространство человека узлом и поэтому служил оберегом так же, как и кольцо, браслет (или нитка, обязанная вокруг запястья), цепь или бусы на шее.

Магическая защита была необходима и беременным женщинам: для этого они носили обрывок старого невода или мережи или обвязанную вокруг тела старую тряпку с множеством завязанных на ней узлов, спуская их как можно ниже, чтобы защитить детородные пути. Нередко завязывались узлами с наговариванием на них оградительных заклинаний пояс, завязки фартука, лямки сарафана – все, что только можно завязать узлом. При этом, например, приговаривали: «Бабушка Соломонидушка, Христова повиваленка, пособи мне, рабе Божей (имярек) узелочки вязать, всякой немочи, недужности путь заказать» [4. С. 81]. После родов, чтобы порча не проникла через рот, женщина первое время ходила, закусив завязанные узлом кончики головного платка (рус. архангел.).

Повсеместно у славян распространено поверье, что пока нечистый дух (или вампир, ведьма) не развяжет (или не пересчитает) все завязанные узлы, он не сможет повредить человеку и вообще проникнуть в его пространство. Мотив развязывания узла присутствует и в быличках, например в рассказе о неразменном рубле. За этот рубль один человек продал дьяволу в новогоднюю ночь черного кота в мешке, завязанном семью узлами. Настоящим владельцем волшебного рубля человек мог стать только в том случае, если успеет добежать до дома, пока дьявол не развяжет всех узлов на мешке (рус. калуж.) [5. С. 411]. У южных славян роженица, чтобы защитить себя и ребенка от злых сил, завязывала узлом очажные цепи [6. С. 78]. У словаков, чтобы уберечь новорожденного от «ночниц» (демонов, которые ночью якобы сосали его грудь, отчего сосочки воспалялась), бабка-повитуха завязывала на тряпочках узелки и днем клала под одеяло ребенка, а на ночь выставляла за окно, веря, что тогда «ночницы» будут сосать эти узелки, а не ребенка [7. С. 115]. По польским поверьям, если на нитках, которыми шьется рубаха, сами по

себе вяжутся узлы, это знак того, что хозяин рубахи останется здоровым, а если узлы не вяжутся, то хозяин, не сносив рубахи, умрет (Покутье) [8. С. 150].

В то же время с помощью завязывания узлов можно было навести порчу, расстроить свадьбу, наслать трудные роды, бесплодие или половое бессилие и другие напасти. Желая расстроить свадьбу знахарка завязывала на веревке церковного колокола два узла, на парня и на девушку, приговаривая, чтобы так не было слышно голоса сватов, как не будет слышно звонов целую неделю (гуцул.) [9. С. 233]. У сербов оберегали молодых во время венчания: чтобы никто не «завязал» их счастья, одна из родственниц стояла под колоколом и держала веревку, чтобы никто не завязал ее узлом (Оролик) [10. С.104]. Узел, завязанный чужим человеком на одежде невесты, причинял ей болезнь, служил ее порче, нарушению благополучной жизни [2. С. 172]. Чтобы наслать мужское бессилие, завязывали три узла на веревке, отрезанной от веревки церковного колокола, или на бахrome, отрезанной от церковного паникадила, с произнесением заговора, чтобы так «висел у раба N сором на рабу N», – и клали узел туда, где должен пройти человек, на которого делали порчу (рус.) [11. С. 356–357]. Если у рыбака не ловилась рыба, а в сеть попадали только жабы, полагали, что *ktoś zawiązał mu sieć* (кто-то завязал ему сеть), т.е. навел порчу [12. С. 31].

Узел и само действие – вязание, завязывание – часто использовались в имитативной магии, направленной на обеспечение плодородия и плодовитости или, наоборот, для создания препятствия для них.

В сельскохозяйственной магии у украинцев при звонах колоколов на страстную службу завязывали на ниточке столько узелков, сколько раз бил колокол. Потом эту нить с узлами, символизирующими завязи плодов, повязывали себе на руку и с нею сажали тыкву (Лубенской у.) [13. С. 249]. В Полесье с той же целью бросали на грядки сплетенные венки, закапывали нить с узелками (киевск.), при посадке затыкали за пояс кромку полотна с узелками, которыми привязывали нити основы к навою (ровен.). На огуречные грядки клали шнуры с узлами, конские пута, плетеные лапти, таскали их по грядке – чтобы и огурцы так завязывались и плелись (бел.). С другой стороны, чтобы нанести вред урожаю, наслать болезнь или смерть хозяевам, колдун или злой человек заламывал и связывал узлом колосья на их поле – делал «залом» (*закрутку, завитку, завязку*).

Для обеспечения плодовитости невесты во время свадьбы деверь выпрадал нитку и завязывал на ней узелки, приговаривая, что желает молодой столько детей, сколько узелков он завязал (болг. пирин.). У македонцев, если у невестки долго не было детей, свекровь заговаривала ее, обходя вокруг и завязывая по три узла на трех (двух белых и одной синей) нитках, чтобы получилось девять узлов – по числу месяцев беременности: «Я врзувам конци, а Господ и семокните во утробата на невестата да заврзат плод, да се зарадуваат сите» (Я завязываю нитки, а Господь и всемогущие в утробе невесты пусть завяжут плод, чтобы возрадовались святые) [14. С. 183].

Наоборот, чтобы не рожать детей сразу после свадьбы, невеста на время венчания делала на завязках своих носков (или на других частях венчальной одежды) столько узлов, сколько лет хотела остаться бездетной (серб.). В редком случае, когда женщина вообще не хотела иметь детей, она должна была венчаться опоясанной не поясом или ремнем, а чем-либо завязанным на «мертвый» узел, или какая-то часть одежды на ней должна была быть пришита к другой (например рубаха к верхней одежде) (серб. Пожега) [15. С. 46].

Аналогичным образом роженица, не желавшая больше иметь детей, клала плаценту новорожденного в свой носок, завязывала его как можно большим количеством узлов, произнося при этом: «Когда эти узлы развяжутся, тогда (имярек) родит ребенка», – потом клала носок в горшок и сразу же быстро закрывала его камнем и закапывала в землю (серб. Пожега) [15. С. 46]. Этим же способом могли

воспользоваться и враги новобрачных, желавшие, чтобы у них не было детей: они украдкой завязывали одному из них узлы на одежде.

В животноводческой магии мотив завязывания фигурирует при случке, отеле и купле-продаже скота. Чтобы корова «погуляла» с первого раза, делали на веревке, на которой ее привели к быку, три узла (пол.), давали ей съесть запеченные в хлебе «ткаческие» узелки (которыми при начале тканья привязывали нити основы к переднему навою – полес. житомир). Чтобы свинья скорее стала поро́сной, беременная женщина должна была завязать на суровой нитке как можно больше узелков, запечь нить в хлеб и дать съесть свинье (бел. витеб.) [16. С. 157]. При первом отеле корове клали на голову «концы» – ту часть холста с большим количеством узлов, которыми привязывали ткацкую основу к навою – чтобы корова телилась постоянно (рус. калуж.) [5. С. 198].

Сделав на веревке девять узлов и повесив ее на чердаке, магически «привязывали» купленную корову к дому (рус. костром.). Если купленная лошадь с выпаса не приходила домой или уходила к прежнему хозяину, новым хозяевам советовали спрясть нитку, крутя веретено в обратную сторону («против солнца»), завязать на ней 40 узлов с чтением 40 молитв «Богородица» и привязать на шею лошади (рус. владимир.) [17. С. 81]. У словаков в Чистый четверг при звонах колоколов завязывали на веревке столько узлов, сколько голов скота было в хозяйстве. При этом хозяин надеялся, что в случае потери коровы на выпасе, он сможет ее найти, развязав эти узлы (словац., горный Спиш) [18. S. 494]. Так же у поляков поступал и пастух в Великий четверг: при чтении священником Евангелий он завязывал на веревке, которой были связаны ветки «пальмы» (атрибут Вербного воскресенья) и из которой он делал кнут, 12 узлов. В случае потери скота летом, он развязывал по одному узлу (лемки) [19. S. 282]. Русский пастух ради сохранности скота старался иметь при себе палку, называемую «обход», на которой была намотана веревка с узлами по количеству голов скота в стаде [20. С. 35]. С плодовитостью птицы связано крещенское гадание в восточной Словакии: завязывали на нитке, которую держали за спиной, узелки, а потом клали ее под порог дома. После того, как священник, обходивший «с колядой» дома, уйдет, пересчитывали узелки, веря, что в наступившем году в хозяйстве будет столько гусят, сколько оказалось узлов (р-н Михаловце) [21. S. 156].

Но завязывание узлов в неурочное время могло привести к несчастьям с приплодом скота: например, запрещалось вязать узлы на Рождество, чтобы у родившегося в наступающем году теленка не были скрючены ноги (полес., гомел.).

Завязывание узлов применялось в народной медицине. Верили, что в них можно захватить болезнь, напавшую на человека, связать ее и перенести в другое место. Чтобы избавиться от бородавок, советовали навязать на нитке столько узелков, сколько бородавок, перед этим обмерив каждую болячку петлей узла, и закопать в землю или в навоз, кинуть в сырое место, на перекресток: когда сгниет нитка, пропадут и бородавки (рус., укр., бел., полес.). В Полесье лечение бородавок требовало более сложного ритуала: каждую бородавку полагалось обвязать ниткой, затянуть ее узлом и бросить нить в чужой колодец, а бородавки потереть землей из-под ног; причем все это следовало делать в полном молчании (брест.). От болезни «стень» (от которой худеют и бледнеют) мерили ниткой суставы и на каждом завязывали узел. Считалось, что болезнь, связанная узлами, оставляет больного.

Так же «связывали» лихорадку, делая на нитке столько узлов, сколько было приступов у больного, а потом бросали нить через голову в воду, произнося: «Благословенна будь, Мария, пусть эти злыдни моются!» – и бежали, не оглядываясь назад, чтобы лихорадка не догнала (пол. Куявы) [22. S. 96]. Больному советовали также подглядеть весной, как вылупляются из яйца цыплята или утята, и в этот момент завязать узелок на платке или фартуке (пол., Литва) [23. S. 375]. У белору-

сов больной при начале припадка лихорадки бежал к кладбищу, падал на свежую могилу, а после окончания припадка захватывал рубашкой немного земли напротив груди и завязывал ее ниткой; этот узелок он обязан был носить до полного выздоровления (витеб.) [16. С. 276]. У русских, чтобы изгнать из больного лихорадку, навязывали девять узлов на толстой веревке и били ею больного. Сербы полагали, что больному поможет ношение на шее узлов, завязанных разведенной женщиной (племя Кучи) [24. С. 533].

Ряд действий был направлен на здоровье и нормальное развитие ребенка. Так, для спокойного сна (т.е. для избавления от ночного плача) новорожденного благословляли соломинкой, на которой был завязан узелок (пол., Верхняя Силезия). Если ребенок не начинал вовремя ходить, старик садился на порог дома и развязывал 14 узелков на своем поясе (болг. Кирсаново) [25. С. 296].

Особенно часто упоминание узлов и завязывания встречается в заговорах, где узел имеет значение п р е г р а д ы или замыкания «своего» пространства. Например, от пули заговаривали себя: «[...] завяжу я, раб Божий, по пяти узлов всякому стрелцу немирному, неверному [...] вы, узлы, заградите стрельцам все пути и дороги, замкните все пищали, опутайте все луки, повяжите все ратные оружия [...]». Существует множество заговоров от навета, от порчи и т.п.; например: «И всех завяжу в узел и не могли б рещи на меня и против меня [...] никакова слова со дерзновением [...]» [2. С. 163]. На Русском Севере для закрепления заклиний часто завязывали узел на особой веревочке или ниточке.

Как знак остановки и связывания узел использовался также в других ситуациях, когда надо было воспрепятствовать нежелательному слову или действию. Например, у белорусов при подозрении на то, что о человеке судачат, пятнают его честь, следовало завязать тугой узел на первом попавшемся платке, поясе, оборке – чтобы у сплетников завязались языки (витеб.) [16. С. 72]. В Боснии, идя сватать невесту, отец или мать парня завязывали девять узлов на веревке с приговором, чтобы завязался язык у отца невесты, чтобы не мог он отказать сватам и отдал дочь на тех условиях, которые ему предлагали [10. С. 87]. В Полесье бытовало убеждение, что с помощью завязанных на красном платке или на поясе узлов можно сбить с дороги журавлей, помешать их отлету: надо было поднять платок или пояс с узлами вверх по направлению к летящим птицам и прокричать: «Журавли-журавли, я вам дорогу перевяжу» (чернигов.) [26. С. 140]. В обыденной практике хитрый хозяин, если хотел, чтобы гости меньше ели, трижды обвязывал ложки ниткой, выпряденной из пуха, падающего при тканье, делая на ней каждый раз узлы (бел. витеб.) [16. С. 101].

Подобные значения окончания, прекращения действия отражены в ряде фразеологизмов, например: *Ondrej zaväzuje hluk* (Андрей завязывает шум), т.е. в день св. Андрея (30.XI) оканчивается время забав и песен и начинается рождественский пост; в Зеленый (страстной) четверг *sa zaväzujú zvony* (завязываются колокола), т.е. замолкают на три дня, до страстной субботы (чеш., словац.) [27. S. 293]. Ср., болг. *завързване* ‘завязывание’ – половое бессилие у мужчин, неспособность произвести потомство [28. С. 11].

Благодаря значению закрепления и привязывания, узлы не использовались в похоронной обрядности. Прежде всего, узлы запрещалось делать при изготовлении одежды и снаряжения для умершего. У русских смертную одежду шили без узлов, чтобы не привязать покойника к этому свету, чтобы он не «пришел» за другим членом семьи (рус.) [29. С. 86]. У поляков верили, что узелками можно было привязать грехи умершего, которые затруднят на «том» свете избавление его души (пол. келец., калиш.) [30. S. 61]. Аналогичные запреты известны также у мораван, лемков, сербов. Болгары развязывали узлы на одежде мертвеца, чтобы он не спотыкался на «том» свете.

Связывание узлом, обозначающее скрепление, единение, использовалось, прежде всего, в свадебной обрядности: молодым связывали руки полотенцем во время венчания (в.-слав.); в первую брачную ночь сватья и дружка, отводящие молодых к постели, связывали их поясом, положенным под простыней (рус. калуж.).

Развязывание узла имеет семантику устранения препятствий, свободного течения, развития, освобождения. Для обеспечения легких родов свадебный наряд невесты готовился так, чтобы на нем не было узлов (словац.) [31. S. 125], (серб.) [15. С. 123]. Повсеместно при трудных родах развязывали все узлы на одежде роженицы и ее мужа (словац., пол., полес.); когда женщина собиралась родить, все, что было связано, выносили из дома или развязывали (серб., Грбле).

Семантику открытости, нарушения целостности имеет развязанный узел в девичьем гадании в Сочельник: девушки завязывали узлом платки и клали под корыто, а наутро смотрели, у кого платок окажется развязанным, та девушка потеряет девственность в наступающем году (морав.) [32. S. 404].

У всех славян существует практика давать подросткам детям развязать пуповину, связанную узлом, для того, чтобы у ребенка «разум развязался», память была хорошая, чтобы ребенок был умелым и ловким в работе. По некоторым другим представлениям, завязанную пуповину человек должен носить при себе всю жизнь, чтобы быть счастливым, богатым и мудрым; этот узел нельзя развязывать, иначе бы «счастье развязалось» (ср.-словац. Банска Бела) [33].

В Сербии верили, что если молодой супруг в первую брачную ночь сначала развяжет девять узлов, завязанные молодой невестой на поясе его штанов, тогда он будет больше любить и беречь жену (босн.) [34. С. 92].

В связи с верой в то, что в узлах соломенных перевясел, которыми связывали убранные снопы хлебов, находятся души умерших, считалось необходимым, если найдешь такой узел, развязать его, чтобы душа освободилась. Жечь и бросать в навоз перевясла с неразвязанными узлами строго запрещалось (чеш., пол.) [35. S. 92].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Český lid. Praha. 1891. R. 1.
2. *Елеонская Е.Н.* Сказка, заговор и колдовство в России. Сб. трудов. М., 1994.
3. Ткань. Ритуал. Человек. Традиции ткачества славян Восточной Европы // Авт.-сост. О.В. Лысенко, С.В. Комарова. СПб., 1992.
4. *Романов М.М.* Ребенок северной деревни в фольклоре и быте // Из истории русской фольклористики. СПб., 2006. Вып. 6.
5. Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Материалы «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. СПб., 2006. Т. 3. Калужская губерния.
6. Рождение ребенка в обычаях и обрядах. Страны зарубежной Европы. М., 1997.
7. *Dobšinský P.* Prostonárodné obyčaje, poverý a hry slovenské. Martin, 1880.
8. *Kolberg O.* Dzieła wszystkie. Wrocław; Poznań, 1963. T. 31: Pokucie. Cz. 3.
9. *Шухевич В.* Гуцульщина: фізіографічний, етнологічний і статистичний огляд. Ч. 3: Родини. Гуцульське весілля. Гуцульські струменти. Гуцульські танці. Гуцульські пісні. Смерть і похорони. Львів, 1902.
10. *Мијушковић М.* Љубавне чини. Београд, 1985.
11. Русский эротический фольклор. М., 1995.
12. *Znamerowska-Prüjfferowa M.* Przyczynek do magii i wierzeń rybaków. Lublin, 1947. T. IV.
13. Украинцы / Отв. ред. Н.С. Полищук, А.П. Пономарев. М., 2000.
14. Македонски фолклор. Институт за фолклор. Скопје, 1991. № 48.
15. *Тешћ М.* Народни живот и обичаји Пожешког краја. Пожега, 1988.
16. Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах / Собрал в Витебской Белоруссии Н.Я. Никифоровский. Витебск, 1897.
17. *Журавлев А.Ф.* Домашний скот в поверьях и магии восточных славян. Этнографические и этнолингвистические очерки. М., 1994.
18. *Horváthová E.* Zo zvykoslovných a poverových reálií na hornom Spiši // Slovenský národopis. 1972. № 3.

19. Nad rzeką Ropą. Kraków, 1965. T. 2. Zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego.
20. Родины, дети, повитухи в традициях народной культуры / Сост. Е.А. Белоусова. Отв. ред. С.Ю. Неклюдов. М., 2001.
21. Pramene k tradičnej duchovnej kultúre Slovenska. (Obrady, zvyky, a povery – 1939) / Zost. V. Feglová a M. Leščák. Bratislava, 1995. Zv. I.
22. *Kolberg O.* Dzieła wszystkie. Wrocław; Poznań, 1962. T. 3: Kujawy. Cz. 1.
23. *Kolberg O.* Dzieła wszystkie. Wrocław; Poznań, 1966. T. 53: Litwa.
24. *Дучић С.* Живот и обичаји племена Куча // Српски етнографски зборник. САН. Београд, 1931. Књ. 48.
25. Концепт движения в языке и культуре. М., 1996.
26. *Заграда Н.* Побут селянської дитини // Матеріяли доетнології. Музей внтроплогії та етнології ім. Хведора Вовка. Київ, 1929. [Т.] 1.
27. *Václavík A.* Výroční obyčjeje a lidové umění. Praha, 1959.
28. Живая старина. 2001. № 2.
29. *Маслова Г.С.* Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX – начала XX в. М., 1984.
30. *Kolberg O.* Dzieła wszystkie. Wrocław; Poznań, 1963. T. 18: Kieleckie. Cz. 1.
31. Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava, 2000.
32. *Václavík A.* Luhačovské Zálesí. Příspěvky k národopisné hranici Valašska, Slovenska a Hané. Luhačovice, 1930.
33. Archív Etnografického Atlasu Slovenska, Ústav etnológie SAV, Bratislava.
34. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Sarajevo, 1907. Knj. XIX.
35. Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. Kraków, 1886. T. 10.



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФАКТОР В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВВ.»

23–24 ноября 2010 г. в Институте славяноведения РАН прошла международная научная конференция «Литературный фактор в культурном пространстве Центральной и Юго-Восточной Европы на рубеже XX–XXI вв.», организованная Центром по изучению современных литератур Центральной и Юго-Восточной Европы. В ее задачи входило исследование современного литературного процесса в странах региона с учетом исторического и социокультурного контекста произошедших перемен, изменения функции литературы в условиях нового исторического опыта и влияния глобализационных процессов, проблем «обратной связи» с читателями, соотношения «высокой» и массовой литературы в современном информационном пространстве ЦЮВЕ. Представляем сообщения участников, посвященные отдельным аспектам проблематики конференции.

Н.Н. Старикова

С. СТОЙМЕНСКАЯ-ЭЛЗЕСЕР (Скопье)

АКТИВНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ: МЕЖДУ НАИВНОСТЬЮ
И ПЕРФЕКЦИОНИЗМОМ

Отправной точкой наших размышлений является тезис о том, что литература – это диалог активных участников, точнее интерактивный и интересубъективный процесс. Эта идея характерна для диалогизма М.М. Бахтина, герменевтики Г.Г. Гадамера [1], рецептивной теории Г.Р. Яусса, концепции «открытого произведения» У. Эко, теории игры между автором, текстом и читателем немецкого феноменолога В. Изера [2], идее «удовольствия от текста» Роллана Барта, так называемом спонтанном литературоведении читательского отклика («reader-response criticism»), генеративной теории чтения Дж. Каллера и для многих других более или менее влиятельных теоретических концепций второй половины и конца XX в.

Еще Г.Г. Гадамер, определяя интерпретацию как мерцающую игру восприятий, употреблял понятие «горизонт». Позже оно станет одной из самых значительных категорий рецептивной теории – категорией «горизонта ожиданий». Это понятие развернуло внимание литературной теории в сторону роли «активного читателя» – основополагающего элемента существования художественного текста. В свою очередь В. Изер ввел понятие «имплицитный читатель»¹, благодаря которому сформировалось понимание того, что любой текст написан с установкой на

¹ В одноименной статье 1972 г. В. Изер употребляет этот термин по аналогии с «имплицитным автором» В. Бута [3].

некоего читателя и что сама структура текста уже содержит в себе представление о возможном реципиенте. Заслуга Изера в развитии нарративной концепции проявляется в дистинкции (установлении различия) между адресатом, имплицитным читателем и реальным читателем. И именно Изеру мы обязаны введением термина «пустое место» (смысловое зияние, несогласованности смысла), т.е. такой точки художественного произведения, которая вызывает необходимость додумывания и доработки со стороны реального читателя, проявляющего таким образом свою активность.

Очень близко к этим размышлениям стоит и концепция «открытого произведения» У. Эко [4], а его термин «модель имманентного читателя» связан с «имплицитным читателем» Изера. Говоря о вариациях «модели имманентного читателя», Эко исследует различие серьезной и массовой литературы. Детально занимаясь особенностями массовой литературы, Эко говорит, что для нее характерна модель статичного и пассивного читателя, тогда как серьезная литература ориентирована на читателя активного.

Все эти размышления доказывают, что, в отличие от прежнего восприятия литературы, которое акцентировалось или на авторе (романтическая, позитивистская концепции), или на самом тексте (формализм, структурализм и даже постструктурализм), в современных литературных исследованиях главное внимание уделяется деятельному читателю². Уже неоспорим тот факт, что читатель не только воспринимает, но и параллельно с самим автором создает литературу. В этом контексте автор оказывается в позиции того, кто подталкивает, провоцирует, «разыгрывает» читателя разными способами ради того, чтобы последний, благодаря своей активной позиции, сделал возможным само существование художественного текста. Будет текст жить или нет, зависит от него – конкретного реального читателя.

Литературной теории свойственны попытки дифференцировать «поэтику чтения» как особую науку, однако она является частью и других гуманитарных наук, таких, например, как социология, психология, культурология. Феномен «чтения» вытеснен из тех клише, что были значимы для прежних эпох. Сегодня чтение – это модифицированная и почти мутировавшая деятельность, которая из-за своей редкости становится едва ли не драгоценной. Эстетическое наслаждение настолько подавлено агрессивной информацией, что во времена, когда печатается огромное количество книг, чтение стало явлением, подвергшимся наибольшей угрозе. Оно или отсутствует, или подавлено наплывом кича.

Перед какими же вызовами оказывается читатель, встречаясь с литературой в конце XX – начале XXI в.? После Х. Борхеса стала неизбежной литературная интертекстуальность, существующая в форме цитат, реминисценций, аллюзий, переводов, качественных изменений, сокращений или продолжений других текстов, клише, пастиша, пародии. Все эти явления при встрече с читателем создают сложные многослойные вибрации узнавания, отгадывания, толкования, сопоставления и выстраивания контекстов.

Интертекстуальность – это софистицированный (мудрёный) вызов читателю, проверка его подготовленности вступить в коммуникацию с художественным произведением. Многие произведения построены так, что их загадочность основывается на таких литературных фактах, без знания которых читатель не может войти в мир произведения и не может принять его как таковое. Интертекстуальность предполагает образованного читателя, причем не только в сфере литературы, но и в области других видов искусства и науки, а также знание им различных субкультур. Читатель современной литературы должен стать «подготовленным игроком», если он желает быть включенным в игру художественного текста.

² Об этом подробно говорит английский исследователь Т. Иглтон (см. [5]).

Высокие требования, поставленные перед читателем, оказываются важны, а иногда имеют решающее значение для успешного «проникновения» в текст. В этом же духе размышляет известный английский теоретик постструктурализма и постмодернизма Дж. Каллер в исследовании «Структуралистская поэтика», написанном в середине 1970-х годов. Каллер работает над проблемой «литературной компетенции», под которой понимает готовность реципиента войти в интертекстуальную игру. Компетентность, как прелиминарное состояние усвоенных предыдущих знаний для восприятия художественного текста, лишь подтверждает важность читателя как специфического соучастника автора.

Но в то же время текстовые взаимопроникновения могут восприниматься и как вид игры, основанной на случайностях, потому что читатель может, но не обязательно должен узнавать предложенные интертексты. Это наталкивает на размышления о восприятии произведения разными культурами, о возможности читателя, принадлежащего одной национальной культуре, без проблем корреспондировать с произведениями другой культуры, содержащей в себе локально окрашенные сигналы, маркеры. В этом смысле остается открытым вопрос, обязательно ли нужно понимать интертексты для успешного восприятия художественного произведения, или же это только возможность более качественной и глубокой рецепции литературного текста.

Сосредоточим наше внимание на двух примерах, иллюстрирующих предыдущие размышления: роман «Разговор со Спинозой» македонского автора Гоце Смилевского [6] и роман «Тень собора» чешского писателя Милоша Урбана [7].

Г. Смилевский строит свой роман на игре, охватывающей по меньшей мере три уровня интертекстуальности: биографию и взгляды философа, работы, написанные о нем другими авторами, а также утонченную фламандскую живопись, эстетика которой ощутима в романе. Работая над романом, автор использовал существующие биографии Спинозы. Кроме того, Смилевский опирался на интерпретацию философии Спинозы Жилем Делёзом. Писатель отметил: «У меня было чувство, что роман пишут сразу три руки: две правых (Спинозы и моя) и одна левая (Делёз, как говорят, был левшой)» [6]. Живописное голландское пространство, отраженное в описаниях романа, своей яркостью явно обязано фламандской живописи. Рембрандт занимает особое место в романе: на обложке первого его издания есть репродукция картины Рембрандта «Уроки анатомии доктора Тульпа», а сам Рембрандт и его картина упоминаются в тексте следующим образом: в момент зачатия Спинозы его родителями на этой же улице в другом доме Рембрандт стоит перед мольбертом и набрасывает свою знаменитую картину. Через классический экфрасис Смилевский усиливает такую деталь, как капля крови, на которой писатель концентрирует все внимание читателя, чтобы напомнить про главную проблематику самой философии Спинозы – проблематику тела и телесности, – а также и романа, являющегося литературной реинтерпретацией философии голландского ученого. Прямые отношения с читателями в этом романе выражены весьма интересно. В самом начале текста есть замечание: «Полотно этого романа соткано из разговоров между Тобой и Спинозой. Поэтому везде, где есть пустое место в речи Спинозы, произнеси свое имя и впиши его в текст» [6]. Таким способом авторский голос (словно бы) уходит из повествования и дает роману возможность развиваться через взаимодействие героев и самого читателя. В диалогах Спинозы оставлены пустые места, куда реальный читатель может вписать свое имя, «оживить» текст и сам стать частью романа. Этот жест демонстрирует желание сделать возможным непосредственный, насколько возможно близкий контакт с читателем, который станет воспринимать сюжет в классическом (а лучше сказать – романтически эмоциональном) ключе, без форсированной постмо-

дернизмом дистанции. Впрочем, и сам Смилевский пишет: «В произведении нет иронии, дистанции и цинизма, этих трех главных позиций, проповедуемых толкователями постмодернизма, к которому это произведение, разумеется, не относится» [6].

Роман М. Урбана – это вариация жанра криминального романа, который вписывается в традицию готической литературы, чья поэтика перевоссоздается во всей атмосфере романа. Место событий – пражский замок Градчаны и его роскошный кафедральный собор Св. Витта усиливают мрачную атмосферу истории о нескольких загадочных убийствах, случающихся там. Можно сказать даже, что центральный образ романа – это сам собор со всеми его деталями и историческим значением. Роман представляет собой чешскую вариацию поэтологических позиций У. Эко (в романе «Имя розы», например) и следует – почти ученически – за всеми канонами постмодернистской поэтики. Большой долей черного юмора, сменой повествовательных перспектив, аллюзиями на алхимию и мистицизм Фулканелли, «Божественную комедию» Данте и прекрасную живопись прерафаэлитов, очень подробным представлением истории строительства пражского собора, его интерьера и экстерьера – всем этим автор романа провоцирует любопытство читателя, ожидая и от него многоуровневой активности. Узнавание интертекстуальных связей совпадает с тем способом читательского проникновения в текст, который характерен для криминальной литературы, когда в процесс поиска преступника открыто и непосредственно приглашен сам читатель криминального романа.

Два произведения, о которых шла речь, связывают подчеркнутая эрудированность и многослойная кодированность, которые в своем контакте с читателем создают специфическое качество художественного произведения. Если в эпоху психологического романа читатель в большей степени открывал ментальные глубины, в реалистических романах рассматривались социальные отношения, в фантастических произведениях раскрывался потенциал читательского воображения, а в прозе постмодернизма во фрагментарном духе, дистанцируясь, сатирично и даже цинично трактовались традиции, то в романах Смилевского и Урбана восхищенное и ненасытное погружение в культурную традицию соединяется с искренним любопытством читателя. Остается открытым вопрос, должны ли читатели этих романов быть уже подкованными в этике Спинозы, знать его биографию, вникать в суть мистериозных сочинений Фулканелли, знать живопись Рембрандта или Росетти, читать Данте или посещать собор Св. Витта? Или же они могут все это сделать после прочтения этих романов? Или, может быть, они не сделают ничего из этого, а оба текста сведутся для них к трем важнейшим литературным мотивам: любовь, смерть и красота. Романы «Разговор со Спинозой» Г. Смилевского и «Тень собора» М. Урбана – это выраженные примеры сохранения и актуализации культурной памяти в художественной форме, которые во взаимодействии с читателем могут быть прочитаны на самых различных уровнях – от наивности до перфекционизма. А решение, будут ли романы прочитаны, остается за самим читателем.

Перевод с македонского М.Б. Проскурниной

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. *Gadamer H.G. Istina i metoda; osnovi filozofske hermeneutike.* Sarajevo, 1978.
2. *Iser W. «Igra teksta» // Republika.* Zagreb, 1994. № 7–8.
3. *Iser W. «Implicitni citatelj» vo Uvod u naratologiju.* Osijek, 1989.
4. *Eko U. Otvoreno djelo.* Sarajevo, 1965.
5. *Eagleton T. Knjizevna teorija.* Zagreb, 1980.
6. *Смилевски Г. Разговор со Спинозой.* Скопје, 2002.
7. *Urban M. Stín katedrály. Božská krimikomedie.* Praha, 2003.

ПОЛЬСКИЙ ПАТРИОТ В ПРОСТРАНСТВЕ ГИПЕРМАРКЕТА
(ПОЛЬСКИЙ ЭТОС В ПРОЗЕ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
РУБЕЖА XX–XXI ВВ.)

«Взрослеть в момент исторического перелома – удовольствие весьма сомнительное» [1. S.112], – признается герой И. Карповича. Важнейшим психологическим опытом писателей, родившихся в 1970-е – первой половине 1980-х годов, и их героев-ровесников оказывается пройденная без их активного (хотя бы на уровне эмоций) участия граница между двумя системами. В силу возраста они уже не могут противопоставить *повседневности* постсоциализма *романтизм* борьбы за независимость, как это делали персонажи П. Семёна, П. Хюлле, Ст. Хвина, Е. Пильха и других, и пафос сопротивления сводится здесь к воспоминаниям об отмененной в связи с введением военного положения детской передаче «Телеутро». «Поколение-лишенное-Телеутра» – называет себя и своих сверстников герой «Аллея Независимости» К. Варги. Авторам еще более молодым – М. Нахачу, Д. Масловской, Д. Ожаровской не досталось и этой «экологической ниши».

Отсутствие романтики сопротивления – или хотя бы романтики бунта против нее – очень заметно в депрессивном самоощущении этих персонажей-повествователей. «Нам разрешено практически все: думать, говорить... вдобавок никакого гражданского долга, никакой необходимости сражаться, да впрочем, и сражаться-то не за что [...]» [2. S. 8.], – размышляет один из героев повести М. Нахача «Восемь четыре», собирая галлюциногенные грибы (единственный способ обеспечить себе переживание иллюзии полноты жизни и найти забвение от ее безнадежной скуки). Неслучайно в одном 2010 г. появилось сразу несколько романов представителей «поколения-лишенного-Телеутра», поднимающих проблему преловутого польского героизма, идеи самопожертвования и т.д. – «Змей в часовне» Т. Пёнтека, «Аллея Независимости» К. Варги, «Баллады и романсы» И. Карповича и др. То, что в момент достижения персонажами «идеального повстанческого возраста» история лишила их возможности «умереть за Польшу – на этот раз хватило авторучки, автомат не понадобился» [3. S. 38–39], обернулось, как показывают тексты, серьезной психологической травмой.

В результате молодая проза начала XXI в. вносит в польскую литературу значительную дозу катастрофизма, неприятия этики и эстетики современной цивилизации, отчаянную критику последствий экономического перелома, ощущение безнадежности существования. Показательны финалы: пылающая помойка у Д. Масловской, залитый дерьмом дом у В. Кучока, самоубийство у К. Варги, полное жизненное поражение у Д. Беньковского.... Повествование нередко имеет форму предсмертного монолога. Роман В. Кучока «Дрянцо», имеющий подзаголовок «Антибиография», заканчивается словами: «Я был, меня больше нет» [4. S. 213]; «Барбара Радзивилл из Явожна Щаковой» – «C'est fini» [5. S. 250]; «Аллея Независимости» К. Варги – «Конец света лениво приближался» [3. S. 267]. В «У нас все хорошо» Д. Масловской поэтика отрицания доводится до абсурда: заканчивается все возвращением к моменту начала войны, бомбардировке, в которой погибает бабушка, а мать и внучка, следовательно, так никогда и не появляются на свет, т.е. описанные выше происходящие в наши дни события просто не могли иметь места.

Однако не меньшее ощущение безнадежности и сарказм вызывают и национальные мифы – «весь ассортимент польского этоса», превратившийся в голую «риторику», которой можно разве что «захлебнуться» [6. S. 127]. Герой «Змей в часовне» Т. Пёнтека называет польский этос «чумой» [7. S. 9], которая губит самых лучших. «Мы нормальные люди, а никакие не поляки!» [8. S. 75], – кричит

маленькая героиня Масловской. Герой романа И. Карповича «Неважеец» признается: «Когда я слышу имена Костюшко, Мицкевича, Шопена, мне блевать хочется» [9. S. 60] (В романе К. Варги «Аллея Независимости», впрочем, высказывается предположение, что гений Шопена и Коперника – результат целенаправленного воздействия инопланетян и т.д.)

Предшествующее поколение, вступавшее в литературу в первой половине 1990-х годов, несмотря на неизбежную иронию, пользовалось «всем ассортиментом польского этоса» еще достаточно серьезно. В аллюзиях, например, повествователя «Мерседеса-бенц» П. Хюлле с «обретенной помойкой», «ветром с моря», сменившимся «политическим болотом, мукой повседневности, поэзией афер, эпикой обманов, ярмаркой тщеславия, словом, нормальной жизнью» [10. S. 35, 123], звучат искреннее разочарование и ностальгия.

В 2000-е годы повзрослевшие в пространстве именно этой «нормальной жизни» более молодые повествователи воспринимают саркастически уже буквально каждый элемент отечественного этоса. Пресловутая помойка, отсылающая к риторике межвоенного двадцатилетия, снова появляется в романах Д. Масловской и Д. Беньковского. «Польско-русская война под бело-красным флагом» заканчивается ее поджогом. Аллюзия Д. Беньковского еще более выразительна: маразматический старик, «многократный повстанец», не расстающийся с саблей, муштрует окрестных детей, отрабатывая «осаду и оборону помойки» [11. S. 18]. Характерны в этом контексте образы гнили у М. Сеневича («Бог, честь, гнильца» [6. S. 311] вместо «Бог, честь, отчизна»), у К. Варги, который в «Терразитовом надгробии» уподобляет гнилому зубу польскость [12. S. 121]. В этом же романе Варга иронически выводит идею польской солидарности в минуты опасности: «Тяга к национальной солидарности выразилась в том, что хотя сначала его избивало всего двое [...] но почти моментально к ним присоединились все прочие пассажиры, и вот уже несколько десятков ног прокладывали себе путь к низвергнутому телу» [12. S. 196]. Патриотическая песня «Красные маки Монте-Кассино» определяется как «песенка о цветочках» [12. S. 327]. Бело-красный цвет – цвет польского знамени – имеет у И. Карповича блевотина, а у Сл. Схуты – депрессия.

Отчаяние героя романа М. Гретковского 1990-х годов, бунтовавшего против польского гимна, было искренним и ничем не прикрытым: «гимн у нас безнадежный [...] Надо придумать другой, а то мы плохо кончим» [13. S. 122–123]. Повествователь же «Терразитового надгробия» К. Варги саркастически замечает, описывая оправдания проигравших польских футболистов: «а мы ведь лучше всех других команд распевали “Еще Польша не погибла”» [12. S. 130–131], а Сл. Схуты в «Сделано в Польше» перефразирует строку из гимна следующим образом: «Marsz, marsz gejowski z ziemi włoski do polski» [14].

Характерно, что в молодой прозе 2000-х годов немало эпатажных, лишенных какой бы то ни было дистанции – исторической ли, нравственной, эстетической – аллюзий с Мицкевичем и Словацким. Романтический языковой жест иронически снижается, низводя образ поэта-пророка до уровня всеядной массовой культуры, в своей эстетической, языковой, психологической эклектике отражающей современную реальность, снимающей с любого явления музейный пиетет и глянец (проза Кшиштофа Яворского, Михала Витковского и др.). Мицкевич и Словацкий выступают здесь как знак отмершей, не поддающейся реанимации и плохо сообразующейся с переживаемым настоящим действительности.

Представления героев о польскости, от которых дистанцируется иронизирующий повествователь, конструируются из противопоставлений, обозначающих границы того, чем, в их сознании, польскость «не является», т.е. процесс самоидентификации осуществляется «от противного». При этом постоянно акцентируется фактор враждебности по отношению к тому или иному «они», абсолютизирует-

ся извечное групповое противопоставление «мы»/«они» – взаимное неприятие, стремление к отторжению или подавлению всего «ненашего», чуждого.

= **Польский / не-польский**

«Или поляк, или не поляк. Или польский, или русский. А если сказать откровенно, или человек, или хер собачий» [15. S. 90], – восклицает герой Масловской.

Понятие «русский» (и пренебрежительного «Rusek») переносится на все, что воспринимается как «грязное», «дикое», «презренное», т.е. «худшее» – помогающее герою-поляку почувствовать свое превосходство.

Характерно при этом, что украинец, который воплощает негативные стереотипы примитивных и агрессивных восточных соседей в романе М. Витковской «Барбара Радзивилл из Явожна-Щаковой», оказывается *фантомом*, проекцией вытесненной, отвергаемой сознанием правды о себе самом. Точно так же в «Польско-русской войне...» Масловской звучит знаменательная фраза: «Русских, вообще-то, может, и *не существует* никаких...» [15. S. 91].

В. Волкан, американский исследователь психологии этнической конфликтности, замечает: «Враг превращается как бы в резервуар для выплескивания туда наших собственных негативных черт, в проекцию нежелательных особенностей нашего собственного коллективного “Я”. Эти фантастические, сложенные из одних недостатков монстры подчеркивают нашу “особость”, напоминают, что “мы” – совсем другие, ни в чем на них не похожие» [16. С. 31–48].

Образ абсурдной неофициальной «польско-русской войны под бело-красным флагом» символизирует агрессивность и одновременно расплывчатость национального самосознания персонажей романа. М. Янион называет этот агрессивный язык «basic polish» [17. S. 242]. Rusek-враг цементирует ксенофобическую идентичность героев молодой прозы, ту польскость, «которая не в состоянии совладать с собственной “русскостью”» [18. S. 124]. «Чужой тебя настиг, – восклицает герой М. Сеневича. – Тот, которого ты носил в себе многие годы...» [19. S. 193].

Польские комплексы по отношению к Западу компенсируются убеждением, что враждебный и/или презренный восточный сосед стоит в этой иерархии еще ниже: «Они презирали русских, но искали на базарах их палатки с часами и чайниками, презирали белорусов, но нанимали их ремонтировать квартиры, хотя сами до этого ремонтировали квартиры шведам, а теперь ирландцам, презирали украинцев, но рекомендовали друг другу прекрасных украинских уборщиц, к которым относились с барской снисходительностью, радуясь, что они платят украинцам еще меньше, чем платили им, когда они убирали берлинские квартиры, принадлежащие людям, которых они по старинке именовали гитлеровцами» [3. S. 94].

Негативной точкой отсчета может служить также любая другая «не-польскость»: «Все эти негодяи продались москалям, пруссакам, австриякам или даже чехам! Тьфу, что за мерзость, даже чехам!» [11. S. 19]. В романе В. Кучока появляется «Единственное радио истинных поляков» [4. S. 192], а в антиутопии К. Варги – Польша, «состоящая наконец на сто процентов из поляков» [12. S. 256]. В «У нас все хорошо» Масловской по радио сообщают: «В прежние времена, когда мир еще функционировал согласно законам, данным Господом, все люди на свете были поляками. Все были поляками – немец был поляком, и швед, и испанец, поляками были все и каждый. Прекрасной страной была в те времена Польша; у нас были чудесные моря, острова, океаны, а также бороздившие их суда, которые то и дело открывали новые материки, также принадлежавшие Польше, в том числе – известный польский первооткрыватель Кшиштоф Колумб, которого потом, разумеется, переименовали в Христофора, а может, Криса или Исаака. Мы были великой империей, оазисом толерантности и поликультурности [...] Но потом наступили для нашей страны черные времена. Сначала у нас отобрали Америку, Африку, Азию и Австралию. Уничтожили польские флаги и пририсовали к ним всякие полоски, звездочки и прочие завитушки, польский язык офици-

ально заменили на другие, диковинные наречия, которых никто не знает, кроме людей, которые на них говорят, причем только затем, чтобы мы, поляки, эти языки не знали, не понимали и чувствовали себя последним дерьмом» [8. S. 70–72].

Снова поднимается проблема антисемитизма – невнятного, доходящего до границ абсурда, направленного уже на кого угодно. Параноический антисемитизм выводится в «Малютке» С. Хутник, причем женщина, сама страдающая от антисемитских выпадов соседей, ежемесячно жертвует сэкономленные гроши «на борьбу с жидокоммуной» [20. S. 49]. Героиня «Карманного атласа для женщин» Хутник всю свою послевоенную жизнь опасается, что ее лишат «правильного», патриотического польского военного прошлого и раскроют его «еврейскую изнанку» (участие сначала в восстании варшавского гетто, и лишь затем в варшавском восстании).

Границы польскости определяются также через призму кулинарных склонностей общества: по одну сторону баррикады оказываются отбивная, журек, бигос, по другую – гамбургеры. Польская традиционная кухня в «Отходняке» (2004) С. Схуты и «Ничто» (2005 – описывается 1993 г.) Д. Беньковского воплощает превосходство отечественного над чужим, а фаст фуд символизирует опасный союз чужой культуры с поработавшим Польшу капитализмом. «Поражение» отбивной – это поражение в борьбе за национальную идентичность, чувство собственного достоинства, верность традиции. В чуть более поздних романах – «Бело-красный» Д. Беньковского и «Терразитовое надгробие» К. Варги – кухня уже становится элементом карикатурного патриотизма. Чтобы не предать мужественность и польскость, поляк должен не только сражаться, но и питаться польскими блюдами, имеющими «геройский вкус»: «Как же другие народы должны восхищаться нами и быть нам благодарны. За бигос и журек [...] за битву под Веной и за всевозможные восстания. Наш народ – единственный и неповторимый!» [11. S. 158–159].

= **Польский / женский**

«Поляк – это стопроцентный мачо» [11. S. 162], – декларирует герой «Бело-красного» Д. Беньковского. Польскость в понимании героев идентифицируется с мужеством, силой, «твердостью», а повествователь следует здесь за В. Гомбровичем, обыгрывающим в «Трансатлантике» связь патриотизма и сексуальности.

Польскость в романе Д. Беньковского олицетворяет карикатурная фигура «Отца, а возможно, Деда», «солдата, повстанца, кавалериста», «участника многочисленных сражений [...] участника сентябрьской кампании, и наполеоновской [...] и, вероятно, также итальянской, побывавшего и под Грюнвальдом, и под Ленино. Но, разумеется, прежде всего он – повстанец, многократный повстанец» [11. S. 22, 154] – в соответствии с традициями польской культуры, с ее «культом уз мужского братства и мужской дружбы» [17. S. 267], «рыцарски уланской душой» [21. S. 362].

В текстах молодых авторов можно найти и традиционные для такой братско-мужской культуры с ее поклонением Матери сатирически гипертрофированные образы и святой Матери-польки, и Матери-Отчизны с ее страдающим телом (у Д. Беньковского, К. Варги и др.).

При этом женская физиология будит в героях молодой прозы буквально магический страх. Мягкость, «zwiślactwo» (от «свисать»), «pochwiactwo» (от «вагина») – воплощение самых жутких тайных страхов героя Д. Беньковского, тревожно осмысляющего *степень* собственной польскости. В свою очередь, герой Масловской панически боится подозрений в гомосексуализме, категорически несовместимом с истинной польскостью. В этом романе ненависть к русской и одновременно женской «неполноценности» в сознании героев сплетаются – сексуальные показатели мужественности переносятся в область патриотизма и наоборот.

«Польскость», воплощенная в патриархальном семейном укладе, противопоставляется также современности, символом которой является партнерство

супругов. Несмотря на поклонение Матери, герой презирает «современного» отца: «ни дать ни взять Мать Полька [...] И чего ты притворяешься, к чему тебе пиджак? Надел бы уж юбку, да и все дела», «просто Мать Полька, только в штанах» [11. S. 65–66].

Итак, польскость в представлении героев молодой прозы начала XXI в. базируется на бинарном мировосприятии, складывается вокруг оси агрессии, отрицания Чужого, – и *страха* перед ним. Отсюда достаточно частотный мотив «националистического» сна-кошмара: герою «Польско-русской войны...» Масловской снятся «русские» варвары, врывающиеся в квартиру, насилующие, убивающие, гадающие и т.д.; кошмар, связанный с «чуждостью» снится и герою рассказа «Евреек не обслуживаем» из одноименного сборника М. Сеневица и т.д.

Причина этой агрессии, очевидно, в том, что романтический дискурс польского этоса ощущается как полностью изношенный, окаменевший. (Отсюда – отрицание, желание сбросить «бремя трупов». «Ненавижу этот город, – восклицает героиня Масловской, – [...] куда ни пойдешь, под ногами трупы, трупы, трупы!!») [8. S. 73]. «Малютка» С. Хутник заканчивается «Большой импровизацией», иронически отсылающей к Мицкевичу, в которой героиня призывает освободиться от «этой бело-красной страны», избавить тело «от болезненных наростов, не моих, не наших, *не нашего поколения*» [20. S. 160]. В «Терразитовом надгробии» К. Варги появляется иронический сюжет с терроризирующими героя по ночам варшавскими памятниками – образ польского прошлого, тяжелого груза, долга, с которым молодое поколение уже не знает, что делать.

Сумбурная и агрессивная смесь дискурсов, включающая в себя обиды, рефлексии, обрывки различных языков и одновременно тщетные попытки защититься от них, в текстах Масловской, Сеневица, Варги, Хутник есть реакция не только на неудовлетворенность современной польской реальностью, но и сублимация недостаточности, неразвитости языка, которым герои располагают для *выражения* этой неудовлетворенности (характерно, что язык этот, как прекрасно показывает Сеневиц, практически укладывается в набор уличных граффити: «Евреи вон!», «Долой капитализм!», «Коммуняки в Москву!», «Лучше кока, чем “Кока”», «Лучше вступить в отношения с Марксом, чем выяснять их с приходским священником», «Иисус жует резинку Дюрекс» [6. S. 233]).

Молодые писатели демонстративно пользуются аллюзиями с Гомбровичем (на разных уровнях текста), но ни в один из этих уровней не вписана надежда на освобождение от языкового корсета. Речь идет не столько о том, что человек стал «немым заложником Формы, которой на этот раз является не польскость, а необходимость подвергать сомнению каждую форму» [22]. Это уже не отдельные герметически замкнутые языки, но их смесь, вездесущая тарабарщина, складывающаяся из штампов СМИ, корпоративного сленга, романтически патриотических лозунгов, намертво зацементированных вездесущей рекламой. «Кто ты будешь? Поляк смелый. Улыбайся. Паста колгейт, жевательная резинка винтерфреш – улыбайся-улыбайся. Какой знак твой? – Орел белый. На завтрак легкий творожок, Нескафе классик и вперед. И улыбайся ... В каком крае? В земле польской. Нокia конектинг пипл» [23. S. 124].

Герои пытаются выразить опыт своей национальной идентификации, однако не находят слов. Девочка-калека в «Малютке» Хутник не в состоянии общаться с внешним миром, но является медиумом, с которым контактируют жертвы военных лет. Однако она не может передать это живым, и лишь чудовищное тело девочки (чья бабушка в 1944 г. обобрала, а затем выдала немцам двух варшавских беженков, которые тех и расстреляли, в результате несчастье, постигшее семью спустя десятилетия, – чудовищные уродства внуки воспринимаются соседями как божья кара, месть истории) является для них неким знаком, который, впрочем,

расшифровывается согласно тому же нехитрому перечню дискурсов: «Малютка как возмездие», «Малютка как заговор», «Малютка как святая», «Малютка как труп» (причем от вознесения Малютки на алтарь до линчевания на железнодорожных путях – один шаг).

Это уже не мир, где истинные ценности и позиции, хотя и превращаются в маски, жесты, позы и фразеологизмы, как в «Заговоре прелюбодеек» Е. Пильха (1993, время действия – 1980-е годы), позволяют все же установить ироническую дистанцию и порождают стремление выработать необходимый язык повседневности. Это не тот гротеск, который смешивает застывшие «высокие» языки, давая шанс освободиться от них в повседневной жизни. Среди героев мы не находим теперь ни Густавов, ни Конрадов – только потерянных потребителей. В том числе – потребителей этого беспомощного в конечном счете языка.

Молодые писатели описывают мир, который проявляется из этого хаотического языка, из постоянной его переработки, «ресайклинга». Это отражение самоощущения сегодняшнего человека, по сознанию которого ежедневно «бьют» однообразные слоганы цивилизации потребления, отсылающие один к другому: «Собственно, весь мир – проект маркетологов» [24. S. 32]. Слоганы «обобщают», стереотипизируют эмоции для удобства, постепенно замещая, вытесняя реальные – индивидуальные – чувства и опыт, не позволяя им созреть.

«Вакуум обжорства» [25], – подводила итог опыта и мироощущения своего поколения Д. Масловская в 2003 г. «Отсутствие каких бы то ни было идей [...]» [2. S. 8], – признавался герой вышедшего в том же году романа М. Нахача.

В 2010 г. появился сразу привлечший внимание психологов и социологов роман девятнадцатилетней Д. Ожаровской «Не грянет никакой гром», названный критиками «первым литературным голосом поколения, родившегося в III Речи Посполитой», «детей успешных реформ».

Герои Схуты, Беньковского, Дзидо, Цегельского и других, осмыслили себя в роли менеджеров-потребителей. Герои чуть более молодых Нахача и Масловской спасались от скуки потребительства при помощи наркотиков и все возраставшей агрессии. Героиня Ожаровской – от имени своего поколения – декларирует «*panibuzm*» (от слов «*na nibu*» – «как будто бы»). Для персонажей романа – подростков, учеников лицей – все совершается и существует словно «понарошку» – образование, вера, любовь. Это даже не нигилизм, который предполагает некую эмоцию наслаждения отрицанием. «Я провозглашаю бесцветность. Наше знамя – пустота» [26. S. 135]. Они ничего не ждут, ни к чему не стремятся, ведут долгие, бесстрастные и бесплодные дискуссии. Главная эмоция, стержень их жизни – скука, ощущение бессмысленности бытия.

Таким образом, как показывают эти тексты, поколения, все больше «недокормленные» серьезными переживаниями – в том числе романтическим переживанием собственной социальной активности, – все больше страдают от ненаполненности жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Karpowicz I.* Gesty. Kraków, 2008.
2. *Nahacz M.* Osiem cztery. Wołowiec, 2003.
3. *Varga K.* Alleja Niepodległości. Warszawa, 2010.
4. *Kuczok W.* Gnoj. Warszawa, 2003.
5. *Witkowski M.* Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej. Warszawa, 2007.
6. *Sieniewicz M.* Czwarte niebo. Warszawa, 2003.
7. *Piątek T.* Waż w kaplicy. Warszawa, 2010.
8. *Masłowska D.* Między nami dobrze jest. Warszawa, 2008.
9. *Karpowicz I.* Niehalo. Wołowiec, 2006.
10. *Huelle P.* Mercedes-benz. Z listów do Hrabala. Kraków, 2002.
11. *Bieńkowski D.* Bialo-czerwony. Warszawa, 2007.
12. *Varga K.* Nagrobek z lastryko. Wołowiec, 2007.

13. *Gretkowska M.* My zdies' emigranty... Warszawa, 1991.
14. *Shuty S.* Produkt polski. (recycling). Kraków, 2005.
15. *Masłowska D.* Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwona. Warszawa, 2003.
16. *Волкан В., Оболонский А.* Национальные проблемы глазами психоаналитика с политологическим комментарием // *Общественные науки и современность.* 1992. № 6.
17. *Janion M.* Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków, 2007.
18. *Barańska K. C.* Snochowska-Gonzales. Wojna chamsko-pańska. // *Recykling Idei. Pismo społecznie zaangażowane,* 2008. № 10.
19. *Sieniewicz M.* Żydówek nie obsługujemy. Warszawa, 2005.
20. *Chutnik S.* Dzidzia. Warszawa, 2009.
21. *Gombrowicz W.* Dziennik 1953–1956. Kraków, 1986.
22. *Sierakowski S.* Ironia, literatura, system. // *Gazeta Wyborcza.* 2005. 15–16 I.
23. *Ostaszewski R.* Dola idola i inne bajki z raju konsumenta. Kraków, 2005.
25. *Gazeta Wyborcza.* 2003. 24 IX.
26. *Ożarowska D.* Nie uderzy żaden piorun. Warszawa, 2010.

A. РОЗМАН (Любляна)

РОЛЬ И ПОЛОЖЕНИЕ СЛОВАЦКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ЭЛИТЫ В ПЕРЕЛОМНЫЕ ГОДЫ

После падения железного занавеса народы Центральной Европы, их политические и культурные элиты должны были заново оценить свое историческое положение, отношения с соседями, роль во Второй мировой войне и после нее до конца существования созданного в Ялте биполярного мира, разделившего Европу на Восток и Запад.

На рубеже XIX–XX вв. словацкие интеллектуалы разрывались между цивилизованным миром и невежественной деревней. Обманутые ожидания словацкой культурной элиты стали следствием неудачного решения¹ проблемы «самого политического существования словацкого народа в смысле его политической, экономической и юридической гомогенности и единства. Словацкий интеллектуал в связи с этим отделял проблему национального и проблему защиты от мадьяризации» [1. С. 80]. В начале XX в. первый словацкий интеллектуал Ян Лайчяк (1875–1918) в работе «Словацкая культура» (1910), размышлял о значении современности и включенности каждого народа, в том числе словацкого, в международные западноевропейские культурные движения². Это вызвало негодование национально ориентированной культурной элиты, разделявшей критическую позицию Л. Штура по отношению к лицемерному западному либерализму и стремившейся к тесному сближению с православием и царской Россией, и на писателя обрушилась лавина необоснованной критики.

После Первой мировой войны и установления ЧСР положение словацкого интеллектуала совершенно изменилось. «Его проблемой более не был острый вопрос самого существования словацкого народа, но вопрос его государственной, политической, экономической, социальной и культурной структурированности» [1. С. 86].

Новая общая родина чехов и словаков, которая в Европе того времени считалась одной из наиболее демократичных и экономически продвинутых стран, обеспечи-

¹ Словацкое национальное движение в ключевые моменты – революционные годы 1848–1849 и в годы существования Матицы 1861–1875 не осуществило свою основную поополитическую цель – конституирование политической самобытности словацкого народа.

² Основа современности по Лайчяку – эволюция, являющаяся точкой отсчета современной жизни, что в словацкой ситуации означало синхронность с историческим развитием человечества. Народ, по его мнению, должен как можно раньше принять и абсорбировать новые идеи и на их основе организовать свою жизнь. Отвергая новые идеи, народ делает невозможным ускорение развития и постепенно деградирует.

ла достаточно большой простор для мировоззренческой и стилистической дифференциации литературы, однако с трудом шла к решению словацких требований большей автономии, зафиксированных в Кливлендском (1915)³ и Питсбургском договорах (1918)⁴. Хотя в первые десять лет существования нового государства чехословакизм сыграл важную роль при словакизации в Словакии и снижения роли сильного немецкого меньшинства в Чехии, а также венгерского меньшинства в Словакии, в 30-е годы XX в. из-за усиления нацистской пропаганды среди судетских немцев и венгерских требований пересмотра Трианонского мирного договора он сошел на нет. Судьбоносный удар Чехословакии нанесли союзники Франция и Великобритания в 1938 г. в Мюнхене, когда согласились с немецкими территориальными требованиями и позволили оккупировать Судеты, что привело к распаду государства и провозглашению первой Словацкой республики в марте 1939 г. Вслед за Германией новое центральноевропейское государство, появившееся после установления диктатуры Гитлера, признал Советский Союз.

Образование словацкого государства словацкая культурная элита восприняла с меньшим воодушевлением, чем провозглашение ЧСР в 1918 г. Большая часть политической элиты понимала провозглашение независимости как переходный этап, который завершится с установлением нормальных условий после войны. Словаки фактически получили то, чего требовали с 1848 г.: свои территории, свою власть и свой парламент, было признано их право на существование как нации. Юридически их суверенитет зависел от нацистской Германии, навязавшей молодому государству ряд законов, среди которых были и антисемитские с последующей конфискацией имущества евреев и заключением их в концентрационные лагеря.

1945 год принес новые надежды. Культурная и политическая элиты спешили вновь установить культурный и политический плюрализм. Литераторы, запрещенные во время войны, начали издавать свои труды; в заново объединенной стране гудело, как в улье, от воодушевления. Большие иллюзии после коммунистического переворота в феврале 1948 г. сменились большими разочарованиями. Словацкая литература постепенно поддавалась пустому литературному схематизму. Представители новой власти при введении своих требований привнесли в язык новые выражения: «буржуазные националисты», «кулаки», «диктатура пролетариата», «СССР наш учитель», «Сталин – великий отец социализма», «колхоз», «национализация», «кровавый пес Тито», «загнивающий капитализм», «классовый враг» и т.д., с помощью которых с фасадов домов и из громкоговорителей убеждали людей, что социализм – единственная великая общественная и политическая истина. Способ введения социализма в некогда демократической стране шел вразрез с традиционными представлениями людей о порядке в государстве. Страну накрыла эпидемия страха и отчаяния. Положение писателей резко изменилось. Новая власть требовала полной лояльности. Указывала авторам темы, которые им следовало использовать, игнорируя при этом художественный компонент. Тех, кто не хотел приспособливаться, вытеснили из литературы, им запрещали публиковаться, многих приговорили к многолетнему заключению или смертной казни. Словацкий писатель в 1950-е годы стал инженером человеческих душ, власть при каждой возможности награждала его различными званиями: народный

³ Во втором параграфе соглашения записано: «Союз чешского и словацкого народа в федеративном государстве с полной национальной автономией Словакии, собственным парламентом, собственным государственным управлением, полной культурной свободой и использованием словацкого языка, с собственным финансовым и административным управлением, с государственным словацким языком» [2. S. 484].

⁴ В Питсбургском соглашении записано: «Словакия будет иметь свою администрацию, свой парламент и свою судебную систему. Словацкий язык станет официальным языком в школах, в официальных организациях и публичной жизни вообще» [2. S. 484].

деятель искусств, заслуженный деятель искусств. У него появились возможности упрочить свое положение, повысился его социальный статус.

Словацкий культурный деятель левых взглядов, из интеллектуала с искренним социальным чувством постепенно ставший коммунистом, в течение шести десятилетий XX в. пережил все катаклизмы этого столетия: экономический кризис, массовую безработицу и фашизм. Он был свидетелем провозглашения первого словацкого государства (1939–1945), столкнулся с грубостью фашистской идеологии, антисемитской политикой, расовой, националистической и религиозной враждебностью, «познакомился с ее домашним вариантом, когда в 1944 г. воспротивился ей вместе со Словацким национальным восстанием» [1. S. 87]. Большие надежды после коммунистического переворота 25 февраля 1948 г., который марксистско-ленинская историография наградила эпитетом «победоносный» февраль, вскоре сменились большими разочарованиями. Деятель культуры вновь столкнулся с тоталитарным режимом, нарушением прав человека, преследованием верующих, сфабрикованными политическими процессами и чистками среди преданных коммунистов. Он был свидетелем дискриминации учителей в школе, переселения горожан в сельскую местность, злоупотребления властью, введения идеологической цензуры и пр. В период 1956–1968 гг. он с энтузиазмом выступал за демократизацию и «человечность» тоталитаризма. Во второй половине 1950-х годов ситуация в литературе начала медленно нормализовываться, возвращаясь на старые, но слегка модифицированные рельсы. Было отменено «эмбарго» на некоторых писателей предвоенного периода, постепенно в 1960-е годы реабилитировали авторов, осужденных на сфабрикованных против буржуазных националистов процессах (Л. Новомеский). Политические послабления дали литературе новый подъем. Снова молодые писатели искали контакты с западноевропейскими литературами и хотя бы частично отказались от великих эпопей о партизанской борьбе героев во время войны и о производственных победах в первый период строительства социализма. Интересно, что такие писатели, как Д. Татарка, Л. Мнячко, Л. Тяжкий и другие, принявшие социализм как единственное спасительное общественное устройство и защищавшие грубые ошибки властей при его строительстве, стали резкими критиками предыдущего периода. Период сохранения надежды на гражданское общество, которое наивно называли «социализмом с человеческим лицом», был слишком коротким, чтобы дать заметные результаты и привести к демократизации общества, открыть путь естественному словацкому культурному, политическому и экономическому развитию. Все иллюзии испарились 21 августа 1968 г., когда войска стран Варшавского договора заняли страну. После этого события пришлось двадцать лет жить при реальном социализме, режиме, который прагматично стремился только к сохранению своей власти.

После августа 1968 г. и выхода белой книги «Уроки кризисного развития в партии и обществе» (1969) последовали чистки в рядах коммунистов и некоммунистов. Большинству писателей 1960-х годов было запрещено публиковаться, их книги изъяли из библиотек, имена – из школьных учебников. Для писателей-сторонников режима это было время «тучных стад», продлившееся до переворота 1989–1990 гг.

В действиях словацких прокоммунистических интеллектуалов при коммунизме можно выделить три поведенческих типа. Первый представляет писатель Владимир Минач (1922–1996), второй – поэт Лацо Новомеский (1904–1976), третий – писатель Доминик Татарка (1913–1989). «Бунт» Минача против повседневной политики был всегда в рамках закона. «Он всегда, не только в 50-е годы, но и в 70-е, и в 80-е оставался членом коммунистической партии и важным функционером словацкого, а точнее чехословацкого парламента» [3. S. 89], где состоял до 1992 г., ставшим для него переломным, – в это время Минач открыл в себе на-

стоящую любовь к словацкому народу, что означало, что он упорно настаивал на «словацком пути», т.е. на сохранении словацких ценностей в отношении к внешнему миру и включенности Словакии в европейские политические, культурные и экономические процессы. Хотя Миначу из-за его политических взглядов при прошлом режиме трудно найти место в словацкой литературе, его можно упрекнуть в том, что как интеллектуал он после 1948 г. затаился. Свое эссе «Раздувая родные очаги» (1970) он закончил так: «Не власть, которая переменчива, но дух, который длится, – вот наш путь, наш смысл, наша судьба» [3. S. 155]. Это действовало только в отношении народа, для него самого работала обратная цитата из эссе: «Не дух, который переменчив, но власть, которая длится, это мой путь, мой смысл, моя судьба» [1. S. 90].

Иной была участь одного из лучших словацких поэтов XX в. Л. Новомеского, который после 1948 г. воспринял коммунизм как путь к расцвету словацкой демократии, культуры и экономики. Он выступал в защиту сохранения демократических ценностей предвоенного периода и плюралистическое развитие словацкой литературы. В 1951 г. его как буржуазного националиста осудили на 10 лет строгого режима. В 1956 г. его условно освободили, в 1963 реабилитировали, в 1968 он стал членом ЦК КПС, незадолго до смерти дистанцировался от политики Гусака «свинцовых» лет, которую назвал второй по счету «ночью длинных ножей». «Он оказался на границе между коммунистической ересью и началом отказа от коммунистической идеологии. Границы этой он открыто не переступил, *впрочем бацилла коммунизма его действительно убила*⁵. Если судьба Минача – фарс, то история Л. Новомеского трагична» [1. S. 91].

Жизненный путь писателя Д. Татарки дает третий пример поведения. Плечом к плечу с Миначем и другими он принял послефевральский режим, в 1953 г. они дружно сотрудничали в кампании против «буржуазных националистов». В другие ключевые моменты словацкой послевоенной истории Минач и Татарка мировоззренчески разошлись и иначе вели себя в 1956, 1968, 1977 гг., до самой смерти Татарки в 1989 г. «Словацкие интеллектуалы после 1968 г. дали новый пример поведения культурной элиты XX в. Прежде всего, изменился стереотип интеллектуального поведения, ранее основанный на приспособлении к тоталитарному режиму, а теперь – на противостоянии ему» [1. S. 93]. Диссидентство в период нормализации после 1970 г. со своей ангажированностью и связью с чешским диссидентством стало частью европейской урбанистической культуры.

«Бархатная» или «нежная» революция произошла так неожиданно и быстро, что молчащая оппозиция не была к ней готова. Ноябрьский переворот принес в словацкий язык новые выражения: «диалог», «толерантность», «мы против насилия», «круглый стол», «возьмем все в свои руки». Слоганом эпохи стало: «Мы не такие как они!». Появились слова «трансформация», «транзигция». Лозунг: «Социализм с человеческим лицом» был заменен на: «Не хотим третьего пути».

Дискуссии о новых политических отношениях шли и в Союзе словацких писателей, который на съезде в начале 1990 г. распался на несколько писательских организаций (Общество словацких писателей, Ассоциация обществ словацких писателей и др.). Вновь начались идеологические разногласия между старыми (коммунистическими) структурами и писателями, которые на протяжении двух последних десятилетий писали свои произведения в стол, время от времени издавая их в самиздате или за границей. Первые пробовали уменьшить свою роль в политических чистках в 1970-х годах и торможении нормальной литературной жизни

⁵ Л. Новомеский в стихотворении «Шепот» (1964) сравнил свое положение с положением Луи Пастера: «Пусть случилось, как случилось с нами // там, где мы начали, рад бы снова начать. Как ученый, ищущий бациллы, // которые его убили».

ни, вторые вновь требовали признания. Никогда в прошлом словацкие писатели не были так разобщены, как после падения железного занавеса. Новые демократические перемены постепенно принесли новые изменения, а именно: ликвидацию цензуры, изменение способа финансирования литературы, писательских обществ и их периодических изданий. Старые структуры (бывшие коммунисты – коммунист всегда коммунист) в 1990-е годы настроили власть на националистическую популистскую линию, разбредили тысячелетние словацкие раны, искали внутренних и внешних врагов, сформировали группировку «настоящих словаков», которые на старый манер с новым словарем («мадяроны», «торговцы словацким государством», «лилипуты») способствовали деградации своих уже не классовых, но национальных врагов.

Перевод со словенского Е.В. Шатько

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Zajac P.* Slovenský intelektuál dvadsiateho storočia // Slovenská otázka dnes. Bratislava 2007.
2. *Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti.* Bratislava, 1998.
3. *Mináč V.* Dúchanie do pahrieb. Bratislava, 1974.

А.М. ЕРШКОВА

ВАЦЛАВ ГАВЕЛ: ПОЛИТИКА И ДРАМАТУРГИЯ

Творец и двигатель чешской культуры второй половины XX в., драматург, диссидент и бывший президент Чехии – сопоставление политических убеждений В. Гавела с основными идеями его творчества позволяет заметить, что драматургия и политика составляют единое пространство деятельности этой личности. В разные периоды жизни он совмещал в себе несколько ипостасей. Будучи писателем, создавал пьесы на политические темы, став диссидентом, продолжил писать и увлекся политикой. Приняв пост президента, лишь сменил жанр с пьес на эссе и речи. Остаются ли неизменными принципы В. Гавела или же они претерпевают трансформацию с каждой новой ролью?

Драматургия и политика бывшего президента Чехии, а ранее и Чехословакии, возрождали чешский традиционный гуманизм, сформировавшийся в XIX в., ставший доминантой национальных политологических концепций президента Т. Мазарика. В. Гавел обращается к темам нравственности, ответственности, говорит о высшем авторитете (т.е. о Боге) не только с трибуны президента, но и с помощью своих литературных героев: Ванека, Ирдржика Фоустки, Эдуарда Гумла, Маргариты. Произведения Гавела учат не сдаваться, не отказываться от своих слов, иметь собственное мнение. Персонажами пьес чешского драматурга нередко оказываются люди заблудившиеся, потерявшие свое «я» или попавшие в тиски государственного режима. Прирожденный политик, в своем творчестве он разоблачает бесполезную работу управленческого аппарата. Часто в героях В. Гавела мы можем увидеть самого писателя, долгое время служившего своему народу примером нравственности. Так, в принципиальном Ванеке из пьесы «Аудиенция» мы узнаем самого драматурга.

Сам Гавел два вида своей деятельности не разделяет, видя в политике и драматургии немало общего. Об этом говорится, например, в «Благодарственной речи при присуждении звания почетного доктора Академии изящных искусств» 1996 г., где Гавел высказывает «несколько замечаний о драматургической и театральной составляющей политики» [1. С. 171]. С его точки зрения, политика и драматур-

гия имеют схожую – четкую и логичную – конструкцию. Хорошая пьеса – это пьеса последовательная, где «одно следует за другим», – заявляет Гавел в интервью чешскому писателю, журналисту и драматургу Карелу Гвиждяле. «[...] Драма предполагает порядок. Возможно, лишь для того, чтобы иметь возможность удивлять, нарушая его» [2. С. 56]. Этот прием бывший президент Чехии использует и в политических целях. Может показаться, что Гавел-гуманитарий, размышляя о политике, невольно включает в свои выступления сведения личного характера: воспоминания, переживания, ощущения. С помощью этого метода воздействия он располагает к себе аудиторию: «Я в принципе не нравлюсь сам себе, и мне кажется, что я заслуживаю лишь всеобщего осмеяния» [1. С. 147]. Кроме того, по мнению В. Гавела, и театр, и политика глубоко символичны – в том смысле, что символу всегда присуща «недосказанность и многозначность» [1. С. 174]. Так, в пьесах Гавела не говорится непосредственно о проблемах времени. Автор заставляет зрителя задуматься, искать в спектакле скрытые смыслы. Как театр через знаковую систему обращается к зрителю, так и политика, «заряженная символами» [1. С. 174], доносит до народа свое послание.

Продолжая свою мысль, Гавел затрагивает проблему опасности, которую таят в себе люди, облеченные властью. Воздействуя словом, они могут «пробуждать у народа самые низменные инстинкты и страсти, электризовать толпу и увлекать ее в пропасть» – в истории масса тому примеров. Таким образом, драматург приходит к выводу, что между «театром как родом искусства и театральным компонентом политики существует одно значительное различие. Если первый безвреден и может приносить лишь пользу, то последний способен ввергнуть в пучину бедствий миллионы людей» [1. С. 176].

В. Гавел был вынужден мириться с некоторыми особенностями политическо-го имиджа: «Мое личное мнение несколько отличается от моего же мнения как президента. Находясь на президентском посту, я обязан принимать во внимание состояние общества и его волю» [3]. Однако обращаясь к его текстам и политическим эссе, можно найти положения, по которым мнение Гавела-драматурга совпадает с мнением Гавела-политика. Так, и в его пьесах, и в политических выступлениях поднимается проблема безразличия в обществе. По мнению Гавела, особенно остро проблема равнодушия стоит в современном западном обществе. Особенно ярко эта тема звучит в пьесе «Уведомление», где монолог Гросса о проблемах с переводом то и дело прерывают сотрудники, поглощенные бытовыми вопросами – покупкой свеклы, лимонов и т.д.

Каждое произведение Гавела буквально пропитано темой ответственности, морали, любви к ближнему. То же можно сказать о его политических выступлениях. Слова «ответственность» и «мораль» стали визитной карточкой политика. В. Гавел остро чувствовал необходимость сохранения облика города и, будучи президентом, призывал граждан к заботе и бережному отношению к своей среде обитания. В драматургии эта проблема встречается в пьесе «Реконструкция»: маленький старинный городок собираются реконструировать, против чего возражают жители. Один из архитекторов, двадцатипятилетний Альберт, говорит: «[...] города – те, в которых можно жить, – складывались веками, как часть природы, в них вложен труд многих поколений и опыт, полученный по наследству или накопленный десятилетиями [...] Просто хотел сказать, что все это нельзя одним мановением руки смести, как старый хлам, и заменить голым рационализмом» [4. С. 371].

Главная тема Гавела – страх поступиться жизненными принципами. В своем обращении к Конгрессу США Гавел сказал: «Мы все еще не знаем, как поставить мораль во главе политики, науки и экономики» [5]. Это весьма болезненная тема в драматургии Гавела, а герои, заботящиеся лишь о собственных интересах, показаны как отрицательные. Они мечутся между двух огней, стремясь сохранить равновесие, обеспечивающее условия морального выбора.

Став президентом, В. Гавел поставил перед собой очень важную для всего чешского народа задачу: «Наше государство не должно быть больше придатком или “бедным родственником” какого-либо другого государства» [1. С. 142]. Действительно, этот аспект играет для ЧР важную роль, ведь страна часто оказывалась под покровительством более сильного государства. Однако Гавел весь период своего президентского правления идет к противоречащей ему цели и добивается ее: «Лучшим в моей политической жизни был, наверное, тот момент, когда мы вступили в НАТО и когда Копенгагенский саммит принял решение о нашем присоединении к Европейскому союзу» [6], – заявил бывший президент в интервью пражскому еженедельнику «Respekt». Снова маленькое государство попало под покровительство сильных.

Нужно сказать, что Гавел был всегда на стороне мирного решения проблем, неизменно выступал против войны. Его правозащитная деятельность, как и «бархатная» революция, проходили без кровопролития и носили мирный характер. В речи «Об авторитете и демократии», с которой Вацлав Гавел выступал в Австралии, мы видим негативное отношение к любым войнам. Тогда он, словно проповедник, наставлял народ: «Люди должны уважать друг друга и не вредить своим ближним» [1. С. 166]. Однако военные начинания США Гавел поддерживал, заявляя: «Есть ситуации, когда умиротворение зла хуже войны» [7]. Гавел высказался за применение силы против Саддама Хусейна, сказав, что «мир не всегда лучше тирании» [7].

Вацлав Гавел стал единственным президентом, подписавшим открытое письмо, опубликованное в поддержку позиции США по Ираку. Это произошло перед самым уходом Гавела с поста чешского президента. «Мы очень огорчены, что В. Гавел в последние дни своего правления подписал открытое письмо, так сильно контрастирующее с его усилиями в борьбе за мир и демократию», – сказала журналистам директор чешской ассоциации «Гринпис» [8]. В то же время войну в Чечне Гавел резко осудил: «Я бы, прежде всего, задумался над тем, что хуже для человеческого рода. И конечно, хуже война в Чечне, потому что там в принципе уничтожается целый народ» [7].

Гавел называл бомбардировку в Сербии «этической войной», и добавил, что это «первая война, которая ведется не во имя интересов, но во имя определенных принципов и ценностей» [1. С. 199] и не преследует никаких корыстных целей. Нужно сказать, что Гавел отвергает понятие «интересы» и призывает политиков отдельных стран отказаться от него: «Думаю, что понятие “интересы”, скорее всего, разъединяет, нежели сближает. У каждого из нас есть какие-то особые интересы [...] Однако есть нечто выше наших интересов – это принципы, которых мы придерживаемся» [1. С. 198].

Следовательно, вступая в НАТО и поддерживая размещение ПРО, Гавел руководствуется своими принципами? Ответом нам послужит следующее его высказывание: «По моему убеждению, было бы неправильно сказать, например, что интерес Чешской Республики заключается в том, чтобы на земле был справедливый мир. Мне следовало бы сказать иначе: на земле должен быть справедливый мир, и этому необходимо подчинить интересы Чешской Республики» [1. С. 199]. То есть вся политика, ведущаяся ЧР, нацелена на благополучие всего мира. Перед нами снова игра слов Гавела-драматурга. Возможно, действия политика противоречат его собственным принципам, возможно, Гавел считал своим моральным долгом поддержать США... Следует отметить, что он часто говорил о том, что многим обязан этой стране, в том числе победой над фашизмом. Поддерживая размещение ПРО, Гавел сказал, что «без помощи США не возникла бы независимая Чехословакия и не исчез бы железный занавес. Теперь настала очередь Чехии идти навстречу Америке» [9]. Ярый сторонник гражданского участия в жизни страны, он выступает против референдума по поводу размещения ПРО. Кого же винить

в этих трансформациях, произошедших с политиком? Вновь обратимся к Гавелу-драматургу, утверждающему, что всегда и для каждого найдется свой Фистула – искуситель, который заставит предать друзей и самого себя.

Став президентом, Гавел выразил свои опасения: «Как бы наша ответственность случайно незаметно не начала подозрительным образом разделяться надвое: на ответственность человеческую и политическую» [1. С. 137]. Нужно отдать должное В. Гавелу – в центре своей деятельности он все же старался ставить человека. Однако частичного разделения ответственности избежать не удалось. Как драматург В. Гавел не имел права идти вразрез со своими моральными установками, слишком велика была опасность, что ему перестанут верить и как драматургу, и как политику.

Отделившись от своего автора, произведения В. Гавела уже давно живут самостоятельной жизнью, и кажется, что герой его пьесы «Ларго Дезолато» Ольбрам обращается к самому драматургу: «Всем, что ты до сих пор делал и успел сделать, ты снискал себе уважение и любовь, но этим ты и самому себе причинил много страданий. Конечно, ты не сверхчеловек, и та удушливая атмосфера, в которой ты так долго вынужден жить, не могла не оставить своих пагубных следов. Но все же я никак не могу избавиться от тягостного ощущения, что в последнее время в тебе будто что-то начало разрушаться, как будто вдруг в тебе надломился какой-то важный стержень, который прежде поддерживал тебя... как будто почва начала уходить у тебя из-под ног... как будто в тебе что-то треснуло, и ты все больше пытаешься только играть себя, нежели на самом деле быть самим собой [...]» [4. С. 259].

Бывший президент Чехии и сегодня продолжает свою правозащитную деятельность, в том числе по проблемам, возникающим на территориях стран бывшего Советского Союза (Белоруссия, Украина, Россия и др.) В настоящее время на Западе (в США), а также в оппозиционных кругах перечисленных стран личность этого политического деятеля представляет собой авторитет, чего нельзя сказать о политическом имидже самой Чехии. Нужно отметить, что сегодня на мировой арене Вацлав Гавел приобрел некую популярность – не только как политик, но и как писатель. Театры снова проявляют интерес к пьесам Гавела, постановки новой пьесы «Уход» (2007) были осуществлены в Чехии и других странах (Англия, Россия). В сентябре 2010 г., в рамках международного фестиваля «Караван», театр «На провазку» под руководством Владимира Моравека представил пьесу «Свинья» («Prase»), имевшую неожиданный для режиссера успех в Москве (со слов Г.П. Мельникова). Несмотря на то, что постановка очень нелицеприятно показывает чешский национальный характер, ее с большим интересом встретили зрители в Брно и на театральном фестивале в Пльзне (09. 2010 г.).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Гавел В.* Гостиница в горах. М., 2000.
2. *Гавел В.* Заочный допрос. Разговор с Карелом Гвиждялой. М., 1991.
3. <http://1k.com.ua/118/details/9/1>
4. *Гавел В.* Трудно сосредоточиться. М., 1990.
5. <http://skatarina.ru/library/putzhizn/pmodern/pmod12.htm>
6. <http://novayagazeta.ru/>
7. <http://www.charter97.org/rus/news>
8. <http://www.rian.ru/politics/20030201/310754.html>
9. <http://newtimes.ru/teletype/200803251206442>



© 2011 г.

М.Ю. ДОСТАЛЬ

О ВКЛАДЕ САМУИЛА БОРИСОВИЧА БЕРНШТЕЙНА В РАЗВИТИЕ ИСТОРИИ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ (К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ УЧЕНОГО)

Статья посвящена С.Б. Бернштейну, выдающемуся филологу-слависту, болгаристу, балканисту, ведущему специалисту в области болгарского языка, сравнительного славянского языкознания и пр.

The article is dedicated to S.B. Bernshtein, the renowned linguist and Slavist, the leading expert in the sphere of the Bulgarian language, comparative Slavic linguistics and so forth.

Ключевые слова: С.Б. Бернштейн, славистика, болгарский язык, диалектология, история славяноведения.

Самуил Борисович Бернштейн (1911–1997) вошел в историю отечественной науки, прежде всего, как выдающийся филолог-славист, болгарист, балканист, ведущий специалист в области истории болгарского языка, болгарской диалектологии, лингвогеографии, сравнительного славянского языкознания и пр. С 1943 по 1970 г. он преподавал и заведовал кафедрой славянской филологии в МГУ. Доктор филологических наук (с 1946 г.), иностранный член Болгарской (с 1963 г.) и Македонской (с 1969 г.) академий наук, он является одним из основателей Института славяноведения АН СССР (с 1947 г., теперь РАН), состоял в его штате в разных должностях до самой смерти. Его перу принадлежит более 400 трудов, включая монографии, статьи, учебные пособия и пр. Он воспитал не одно поколение филологов-славистов. Н.И. Толстой, В.Н. Топоров стали академиками, Е.И. Демина, Т.В. Попова, В.К. Журавлев и другие – докторами наук. Ученики и коллеги часто называли его «патриархом славистики»[1–3]. Менее известно, что он является одним из зачинателей в СССР во второй половине XX в. особой отрасли науки – *истории славяноведения*.

С молодости он проявлял интерес к историографическим разысканиям и не ограничивался оценкой трудов своих предшественников по конкретным исследуемым ими проблемам, как это делает большинство ученых. Он относился к тому более узкому кругу исследователей, которые рассматривают интересующую их проблематику на широком историографическом фоне, с экскурсами в историю славяноведения, с подробным анализом достижений предшествующих поколений ученых.

Историзмом проникнуты диалектологические и лингвогеографические работы Самуила Борисовича (см. [4]). То же можно сказать о других трудах ученого.

Досталь Марина Юрьевна – канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

Но С.Б. Бернштейн не ограничивался историографическими экскурсами в своих лингвистических исследованиях. Он – автор свыше 50-ти трудов, специально посвященных истории славистики. Как признанному лидеру лингвистической части славяноведения ему довелось выступать с работами, подводящими итоги и определяющими направление развития разных отраслей славянской филологии [5–12]. Но особенно большое место в его историографическом творчестве занимают очерки о деятельности крупных отечественных и зарубежных славистов. Такой акцент не случаен – в истории славяноведения С.Б. Бернштейн считал наиболее плодотворным биографический метод исследования.

Накануне Второй мировой войны Самуил Борисович выступил со статьями об одесском периоде деятельности И.В. Ягича и А.И. Томсона [13–14]. Уже в этих ранних работах он показал себя знатоком источников и мастером психологического портрета. Основная часть статьи о Ягиче посвящена истории приглашения ученого в Новороссийский университет и его взаимоотношениям с одесскими профессорами. В ней использованы частично утраченные во время войны данные одесских архивов, рукописи и письма Ягича. Много нового содержится и в очерке о А.И. Томсоне.

В первое послевоенное десятилетие появились статьи Самуила Борисовича, посвященные его учителям и современникам А.М. Селищеву и Н.С. Державину [15–16]. С.Б. Бернштейн писал о научном значении их трудов, пытался показать то новое, что было внесено ими в науку. (Приверженность Державина к марризму он тогда не акцентировал.) То же относится и к книге С.Б. Бернштейна о выдающемся отечественном слависте конца XIX – начала XX в. Вячеславе Николаевиче Щепкине, вышедшей в 1955 г. в серии «Замечательные ученые Московского университета» [17]. Надо сказать, что Самуил Борисович принимал активное участие в создании этой серии и на протяжении ряда лет входил в состав ее редакции.

С.Б. Бернштейн по существу первым из советских филологов попытался определить и обобщить основные тенденции и направления развития славянской филологии в России и СССР в области изучения южнославянских языков и шире [18–23]. Эта серия работ является классическим образцом глубокого владения предметом исследования, на нее опирались все, кто обращался к истории отечественного славяноведения. Но представлял он эту историю в живых характеристиках ее создателей и исследователей, через анализ их научных достижений. По справедливому замечанию Н.И. Толстого, относящемуся к работе Самуила Борисовича «Из истории изучения южных славянских языков в России и СССР», он прослеживал «последовательный путь развития исследований языкового южнославянского мира от А.Х. Востокова, К.Ф. Калайдовича, М.Т. Каченовского и Ю.И. Венелина до А.М. Селищева, Н.С. Державина и Л.А. Булаховского» [2. С. 25].

Со второй половины 1960-х годов С.Б. Бернштейн обращается к творчеству до-революционных славистов и ученых «старой школы», действовавших в 1920-х и 1930-х годах. Он пишет о В.И. Григоровиче, П.С. Билярском, П.И. Кёппене и других ученых [24–27], ранее публикует статью о Б.М. Ляпунове [28], с которым ряд лет состоял в переписке. В 1960-е и последующие годы появляются работы Самуила Борисовича о советских коллегах – Р.И. Аванесове, Л.А. Булаховском, В.М. Илличе-Свитыче, О.Н. Трубачеве [29–32], он откликается на памятные даты и подводит в некрологах итоги научной деятельности ряда зарубежных славистов [33–36], особенно из любимой им Болгарии [37–39]. Все эти статьи по богатству оригинального фактического материала стали «нитью Ариадны» для начинающих историков науки, изучающих творчество отдельных ученых. Блестящим образцом популярного и вместе с тем строго научного изложения, характерного для многих трудов С.Б. Бернштейна, стала его книга «А.М. Селищев – славист-балканист» [40]. Познакомив читателей с неординарной биографией ученого и отметив его

выдающийся вклад в славяноведение и балканистику, Самуил Борисович подробно охарактеризовал те теоретические и методические принципы, которые лежат в основе многочисленных исследований Селищева, показал значение его трудов для развития в первой половине XX в. ряда важных теоретических положений мировой славистики и балканистики. Вся книга проникнута любовью и уважением к Селищеву, который впервые приобщил его к славяноведению и на протяжении многих лет следил за развитием молодого ученого. С огромной теплотой и подлинным талантом рассказчика восстанавливает С.Б. Бернштейн жизненный путь Селищева. Вот немногие строки из первой главы книги, в которых и подлинно художественный портрет его «героя», и кредо Самуила Борисовича при работе над книгой. «Перед глазами стоит мощная фигура учителя. Он внимательно, чуть насмешливо смотрит через дымчатые очки. Знаю, что его взгляд будет сопровождать меня все время, пока работаю я над книгой. Это поможет мне не отдаляться от подлинных фактов, поможет избежать преувеличений, столь характерных для подобного рода сочинений» [40. С. 5].

Книга о Селищеве в значительной степени основана на личных воспоминаниях. О мемуарном жанре в творчестве Самуила Борисовича следует сказать особо. Он любил и умел вспоминать о прошлом, был мастером психологического портрета. Самуил Борисович оставил воспоминания, сообщающие о многих важных фактах и интереснейших подробностях научной жизни, воссоздал атмосферу эпохи, дал яркие и зачастую нелюбезные характеристики современников. При подготовке к печати этих воспоминаний, названных ученым «Зигзаги памяти» [41], удалось выяснить, что он задумал создать книгу «Портреты моих современников», в которой предполагал через призму собственного восприятия написать о таких разных деятелях науки и культуры, как А.М. Селищев, Н.С. и К.Н. Державины, Г.О. Винокур, Н.К. Дмитриев, Н.К. Гудзий, Л.П. Гроссман, В.П. Волгин и многих других. Началом реализации замысла стали напечатанные в научных изданиях очерки о М.Г. Долобко [42], П.С. Кузнецове [43] и А.В. Луначарском [44]. При этом в процессе работы у Самуила Борисовича появлялись сомнения в плодотворности своих намерений. Как видно из одной записи в «Зигзагах памяти», он опасался, что ученым не будут интересны особенности поведения деятелей науки, которые не оказывают непосредственного влияния на ход их исследований. Он писал в дневнике 20 февраля 1982 г.: «Ученых интересуют результаты труда исследователя, но зачем нужно знать о тех особенностях его поведения, интеллекта, которые не могли оказать влияния на ход научных исследований? Прежде я думал, что все это очень важно. Однако моя уверенность теперь поколеблена». (Дневник в архиве автора.) Примечательно, что колебания Самуила Борисовича возникли после «презентации» в Институте славяноведения очерка о П.С. Кузнецове, при обсуждении которого он не получил ожидаемой поддержки. Однако как колоритен и емко, например (хотя и крайне субъективен), нарисованный им в мемуарах образ этнографа и археолога, члена-корреспондента АН СССР С.П. Толстова: «Сергея Павловича помню еще со студенческих времен. Он ходил всегда в длинной шинели, в кубанке, носил усы, непрерывно курил страшно вонючий табак и громко громил всяческих врагов. От него шел тошнотворный запах грязного белья. Пальцы рук были желтого цвета от курева. Он поставил перед собой задачу уничтожения этнографии и, в конце концов, заняв должность директора Института этнографии, успешно ее осуществил. Практически этнографии у нас сейчас уже нет. Сам он теперь уже занимается археологией» [41. С. 53]. Ныне, когда внимание к психологическим аспектам творчества стало востребованным и вошло в инструментарий современной науки, эти приемы широко используются в популярной ныне биографистике. Таким образом, можно сказать, что С.Б. Бернштейн был одним из зачинателей нового жанра, получившего распространение в нашем отечестве лишь в самом конце XX в.

Одной из важных сторон биографического метода Самуила Борисовича было повышенное внимание к нравственным качествам ученых. Особенно резко он осуждал процветавший в период тоталитаризма в научной среде конформизм (см. [45]). Не без основания считая этот порок характерным продуктом эпохи, С.Б. Бернштейн даже намеревался создать сборник памфлетов, в котором предполагал откровенно и «с перцем» показать истинное лицо конкретных работников науки, которые, по его мнению, не отвечали высоким моральным требованиям, необходимым ученому. Он придумал для своих «героев» едкие, но очень выразительные псевдонимы: «Академик Нахрапов», «Академик Апельсинов», «Директор Кукушкин», «Вундеркинд Запятая»...

Осуждая характерные для его времени пороки, Самуил Борисович был, тем не менее, человеком своей эпохи. В соответствии с господствовавшей идеологией он сам, как, впрочем, и все ученые того времени, вопреки истине излагал историю дореволюционной и особенно советской славистики как поступательное и прогрессирующее развитие, не знавшее тупиков, провалов и отступлений. В период «перестройки», он, много зная о репрессиях в стане славистов, пересмотрел эту ошибочную позицию. Откровением стала его статья мемуарного характера «Трагическая страница из истории славянской филологии» в начале 1989 г. [46]. В ней С.Б. Бернштейн впервые сделал достоянием гласности факты преследования славяноведов, подробности фабрикации ОГПУ политического «Дела славистов» и попытки искоренения славистики, объявленной «лженаукой, глубоко враждебной советскому строю». Он убедительно показал, какой огромный урон был нанесен невежественными следователями «органов» и высокими вдохновителями их усилий научной дисциплине, призванной решать актуальнейшие задачи, вставшие перед страной в годы Отечественной войны и в период после ее окончания.

В биографических очерках Самуил Борисович учитывал общественно-политический фон, неизбежно накладывавший отпечаток на деятельность того или иного ученого, ему был присущ критический подход к оценке их творчества. Приходится признать, что при этом ученый проявлял известный субъективизм и излишнюю пристрастность. Например, трудно понять, почему идеалом дореволюционного ученого он считал П.С. Билярского, а И.И. Срезневский вызывал у него стойкую неприязнь. Это прослеживается, в частности, в статьях С.Б. Бернштейна «О некоторых вопросах изучения русского славяноведения», «Еще раз о Срезневском» [47; 48]. Самуил Борисович опирался в своих заключениях не на известные ему факты биографии Срезневского, а на язвительные характеристики И.В. Ягича [49] и обличительные выпады близкого к народникам литературного критика А.М. Скабичевского, озвучившего мнение революционно настроенных студентов о «бесполезности» таких «антикварных» дисциплин, как лексикография, палеография и археография с точки зрения современной общественной борьбы [50. С. 77]. А именно в них И.И. Срезневскому принадлежал научный приоритет и существенные достижения в российской науке.

В свое время нам пришлось даже защищать доброе имя Измаила Ивановича, пользуясь материалами своей диссертации [51]. В результате достигнутого с помощью главного редактора компромисса появилась совместная статья С.Б. Бернштейна и М.Ю. Досталь в библиографическом словаре «Славяноведение в дореволюционной России» [52], но и после этого полемика продолжалась в журнале «Советское славяноведение» [53].

Вспоминаются научные споры, развернувшиеся при подготовке коллективной монографии «Славяноведение в дореволюционной России: Изучение южных и западных славян» [54], в которой были обобщены исследования по истории отечественного славяноведения до 1917 г. Они велись преимущественно основным автором языковедческих разделов С.Б. Бернштейном и ответственным редактором монографии В.А. Дьяковым, сторонником широких методологических обобще-

ний. Самуил Борисович отстаивал в этих спорах свой метод изложения материала «по биографиям» в разделах, посвященных изучению славянских языков. Ему удалось настоять на своем, и написанные С.Б. Бернштейном вместе с В.П. Гудковым и С.В. Смирновым разделы представляют собой, по существу, совокупность кратких очерков о языковедах-славистах, чем отличаются, например, от разделов В.А. Дьякова и А.С. Мыльникова, рассматривавших изучение истории славян в соответствии с существовавшими в России научными направлениями.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что Самуил Борисович Бернштейн внес своими трудами существенный вклад в разработку истории славянской филологии, в определение тенденций ее развития, в создание жанра славистической биографии. Его труды, хотя и несут определенный отпечаток эпохи, в которую были написаны, не потеряли своего научного значения.

К 100-летию со дня рождения ученого в Институте славяноведения РАН подготовлен к печати сборник трудов С.Б. Бернштейна по истории науки. (Главные исполнители проекта М.Ю. Досталь, А.Н. Горяинов, Г.К. Венедиктов, М.Ю. Дронов и др.). В нем публикуются почти все его статьи по этому предмету исследований, разбросанные по разным изданиям. Они представляют собой как обобщающие очерки по истории изучения в России и СССР болгаристики, сорабистики, славянской филологии в целом, кирилло-мефодианы и прочее «в лицах» исследователей, так и запоминающиеся портреты отдельных дореволюционных и современных славистов и балканистов России, Болгарии, Польши, Германии, Югославии. В книге раскрывается его приоритет в изучении проблем «репрессированной» славистики. Написанные прекрасным литературным языком, эти статьи до сих пор не потеряли своего научного значения. Собранные вместе они являются ярким свидетельством неопределимого вклада ученого в историю отечественного славяноведения и образцом для молодого поколения ученых.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Аванесов Р.И.* Сорок лет в славистике // Исследования по славянскому языкознанию. Сборник в честь шестидесятилетия профессора С.Б. Бернштейна. М., 1971.
2. *Толстой Н.И.* 60 лет служения славистике // *Studia slavica: Языкознание. Литературоведение. История. История науки: К 80-летию Самуила Борисовича Бернштейна.* М., 1991.
3. Филологический сборник памяти профессора Самуила Борисовича Бернштейна: К 5-летию со дня кончины. М., 2002.
4. *Горяинов А.Н., Досталь М.Ю.* С точки зрения историков науки: (О посмертном сборнике статей С.Б. Бернштейна) // *Славяноведение.* 2002. № 1.
5. *Бернштейн С.Б.* Задачи изучения болгарских говоров СССР // *Ученые записки. Институт славяноведения АН СССР.* М., 1950. Т. 2.
6. *Бернштейн С.Б.* Задачи изучения современного болгарского литературного языка // *Краткие сообщения АН СССР. Институт славяноведения.* М., 1953. Вып. 10.
7. *Бернштейн С.Б.* Основные задачи, методы и принципы «Сравнительной грамматики славянских языков» // *Вопросы языкознания.* 1954. № 2.
8. *Бернштейн С.Б.* Задачите на картографирането на българските народни говори (по материалите на «Атлас на българските говори на територията на СССР») // *Български език.* София, 1955. Кн. 4.
9. *Бернштейн С.Б.* Изучение македонского языка в Народной Республике Македонии // *Вопросы языкознания.* 1956. № 2.
10. *Бернштейн С.Б.* Методы и задачи изучения истории значений и функций падежей в славянских языках // *Творительный падеж в славянских языках.* М., 1958.
11. *Бернштейн С.Б.* Актуальные проблемы изучения истории болгарского языка // *Вестник МГУ. Филология.* 1983. № 4.
12. *Бернштейн С.Б.* О некоторых итогах и перспективах лингвистических исследований Карпато-Дунайского региона // *Carpatobalcanica.* Bratislava, 1985. Т. 14. № 1/2.
13. *Бернштейн С.Б.* К истории языковедения в Одессе: Материалы для биографии В. Ягича // *Труды Одесского университета.* Одесса, 1940. Т. 1.
14. *Бернштейн С.Б.* А.И. Томсон: (К пятилетию со дня смерти) // *Русский язык в школе.* 1941. № 1.
15. *Бернштейн С.Б.* Селищев – балкановед // *Доклады и сообщения Филологического факультета МГУ.* М., 1947. Вып. 4.

16. *Бернштейн С.Б.* Академик Н.С. Державин: (К 70-летию со дня рождения) // Доклады и сообщения Филологического факультета МГУ. М., 1948. Вып. 4.
17. *Бернштейн С.Б.* Вячеслав Николаевич Щепкин. М., 1955.
18. *Бернштейн С.Б.* Из истории изучения южных славянских языков в России и СССР // Вопросы славянского языкознания. М., 1957. Вып. 2.
19. *Бернштейн С.Б.* Вклад ученых Московского университета в изучение болгарского языка // Известия на Института за български език. 1957. Кн. 5.
20. *Бернштейн С.Б.* Советской славянской филологии 50 лет // Советское славяноведение. 1967. № 5.
21. *Бернштейн С.Б.* Русское славяноведение о сербо-лужицких языках // Сербо-лужицкий лингвистический сборник. М., 1963.
22. *Бернштейн С.Б.* Константин-философ и Мефодий. Начальные главы из истории славянской письменности. М., 1984.
23. *Бернштейн С.Б.* Cyrillo-methodiana в России // Ученые записки Тартуского университета. Тарту, 1983. Вып. 649.
24. *Бернштейн С.Б.* Памяти В.И. Григоровича (К 150-летию со дня рождения) // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. М., 1965. Вып. 4.
25. *Бернштейн С.Б.* Из истории русского славяноведения: Виктор Иванович Григорович // Известия ОЛЯ. 1976. № 6.
26. *Бернштейн С.Б.* Академик П.С. Билярский и его вклад в изучение языка среднеболгарской письменности // Языки и письменность среднеболгарского периода. М., 1982.
27. *Бернштейн С.Б.* «Библиографические листы» П.И. Кёппена // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. М., 1982. № 1.
28. *Бернштейн С.Б.* Борис Михайлович Ляпунов // Вопросы языкознания. 1958. № 2.
29. *Бернштейн С.Б.* Р.И. Аванесов (1902–1982) // Общеславянский лингвистический атлас, 1981. М., 1984.
30. *Бернштейн С.Б.* Памяти Л.А. Булаховского // Краткие сообщения Академии наук СССР. Институт славяноведения. М., 1963. Вып. 38.
31. *Бернштейн С.Б.* В.М. Иллич-Свитыч // Slavia. Praha, 1967. Seš. 2.
32. *Бернштейн С.Б.* Олег Николаевич Трубачев (К пятидесятилетию со дня рождения) // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. М., 1981. № 1.
33. *Бернштейн С.Б.* М. Фасмер // Краткие сообщения Академии наук СССР. Институт славяноведения. М., 1964. Вып. 41.
34. *Бернштейн С.Б.* Тадеуш Лер-Сплавинский // Советское славяноведение. 1965. № 3.
35. *Бернштейн С.Б.* Памяти академика Александра Белича // Сборник радова о Александру Белићу. Београд, 1976.
36. *Бернштейн С.Б.* Витольд Дорошевский // Советское славяноведение. 1976. № 6.
37. *Бернштейн С.Б.* Любомир Милетич (К столетию со дня рождения) // Краткие сообщения Академии наук СССР. Институт славяноведения. М., 1963. Вып. 38.
38. *Бернштейн С.Б.* Академик А. Теодоров-Балан // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. М., 1959. Вып. 4.
39. *Бернштейн С.Б.* Памяти профессора Стойко Стойкова // Советское славяноведение. 1970. № 3.
40. *Бернштейн С.Б.* А.М. Селищев – славист-балканист. М., 1987.
41. *Бернштейн С.Б.* Зигага памяти. Воспоминания. Дневниковые записки / Отв. редактор академик В.Н. Топоров. Сост. М.Ю. Досталь и А.Н. Горяинов. М., 2002.
42. *Бернштейн С.Б.* Портреты моих современников: Милий Герасимович Долобко // Сборник за филологију и лингвистику. Нови сад, 1988. Т. 31/1.
43. *Бернштейн С.Б.* Петр Саввич Кузнецов (К 15-летию со дня смерти) // Slavia. Praha, 1984. № 2.
44. *Бернштейн С.Б.* О Луначарском (По данным дневниковых записей) // Славяноведение. 1993. № 1.
45. *Горяинов А.Н., Досталь М.Ю.* Проблема научной этики в воспоминаниях С.Б. Бернштейна о 1930–1950-х годах // Славянский альманах, 2000. М., 2001.
46. *Бернштейн С.Б.* Трагическая страница из истории славянской филологии (30-е годы XX века) // Советское славяноведение. М., 1989. № 1.
47. *Бернштейн С.Б.* О некоторых вопросах изучения русского славяноведения // Вестник МГУ. Филология. М., 1979. № 4.
48. *Бернштейн С.Б.* Еще раз о Срезневском // Советское славяноведение. 1984. № 2.
49. *Ягич И.В.* История славянской филологии. СПб., 1910.
50. *Скабичевский А.М.* Литературные воспоминания. М.; Л., 1928.
51. *Досталь М.Ю. И.И. Срезневский и его связи с чехами и словаками.* М., 2003.
52. *Бернштейн С.Б., Досталь М.Ю.* Срезневский И.И. // Славяноведение в дореволюционной России: Библиографический словарь. М., 1979.
53. *Досталь М.Ю.* О некоторых спорных моментах научной биографии И.И. Срезневского // Советское славяноведение. 1992. № 2.
54. *Славяноведение в дореволюционной России: Изучение южных и западных славян.* М., 1988.



© 2011 г. В.А. ХОРЕВ

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ КНИГИ МАРЕКА РАДЗИВОНА «ИВАШКЕВИЧ. ПИСАТЕЛЬ ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ»

Главная тема книги М. Радзивона – «политическая биография» Ивашкевича. Писатель чувствовал свою ответственность перед польской культурой и выполнял миссию посредника между писательской средой и властными структурами, между прошлым и настоящим польской культуры, между польской, западноевропейской и русской культурами.

The main topic of Marek Radziwon's book is a «political biography» of Iwaszkiewicz. The author felt his responsibility for the Polish culture and held the mission of a mediator between the writers-community and the authorities, between the past and the present of Polish culture, between the West-European and Russian cultures.

Ключевые слова: культура, политика, история, творчество, традиция, литературная критика, язык.

Ярослав Ивашкевич (1894–1980) – один из наиболее выдающихся творцов польской культуры. Мало кто из польских писателей может сравниться с ним по писательской активности, по богатству и многосторонности творческих свершений. Поэт, прозаик, драматург, искусствовед, эссеист, литературный критик, музыковед, мемуарист, переводчик шедевров мировой литературы, Ивашкевич поистине ренессансная личность. Его перу принадлежат сотни произведений высочайшего художественного уровня. Всесторонность Ивашкевича – результат его исключительной художественной восприимчивости к разнообразным явлениям жизни, а также искусства – литературы, музыки, живописи, театра, архитектуры.

Трудно подступиться к описанию такого феномена. Может быть, поэтому в Польше до сих пор нет целостного исследования жизни и творчества Ивашкевича, хотя существует ряд книг об отдельных жанрах творчества писателя в разные периоды (см. [1]), не говоря уже о неисчислимом множестве статей, рецензий и воспоминаний.

В России, главным образом в советское время, творчество Ивашкевича привлекало внимание издателей, критиков и читателей. Наиболее полные издания произведений писателя на русском языке – это «Собрание сочинений в 8 томах» (1976–1980) с обстоятельной вступительной статьей В.В. Витт; «Люди и книги: статьи, эссе» (1987, предисловие В. Хорева); «Петербург» (2002). В нашей печати появилось немало статей о разных аспектах творчества Ивашкевича¹, была защищена не одна кандидатская диссертация, опубликованы «Воспоминания о Ярославе Ивашкевиче» (1987). Но и у нас нет монографического описания жизни и творчества Ивашкевича. Эту задачу ставил перед собой украинский исследова-

Хорев Виктор Александрович – д-р филол. наук, зав. отделом Института славяноведения РАН.

¹ Наиболее содержательны статьи В. Британишского разных лет о поэзии Я. Ивашкевича, собранные автором в книге «Речь посполитая поэтов. Очерки и статьи» (М., 2005).

тель Г.Д. Вервес. Его книжка об Ивашкевиче, изданная на украинском, русском [2] и польском языках, содержит немало фактических ошибок и неверных утверждений. Предшествовавшие книге публикации исследователя о своем творчестве сам писатель оценивал так: «Обо мне пишет Вервес, как будто один из лучших. Боже мой, как же это ужасно, схематично, неверно и несправедливо. Он встает на голову, чтобы сделать из меня соцреалиста, умалчивает о “Молве”, “Взлете” и т.д. Целиком перечеркивает начало моего творчества. Борейша² всегда говорил, что “Красные щиты” это истинно марксистский роман. Вервес же пишет, что это фашистский роман. Высшие достижения – это, разумеется, “Роза” и “Бегство Феликса Оконя”. Он не осознает, что я могу думать иначе, чем они, все приписывается моему непониманию. “Не понял” – и дело с концом. Где уж тут подумать о том, что это они не понимают. Нападки на Юрека Квятковского³ и Березу⁴ – они дескать сталкивают меня на позиции “ревизионизма”, а я – Боже ты мой – вовсе не ревизионист. В голову такому не придет, что я просто-напросто писатель. Отчаяние берет, когда читаешь такие сочинения. И подумать только, что других там нет» [3. S. 460].

Имеющийся пробел в жизнеописании Ивашкевича во многом восполняет книга Марека Радзивона [4]. В своем исследовании автор опирается на произведения писателя и его публичные высказывания, работы предшественников, воспоминания современников. Но одним из важных достоинств книги является привлечение автором огромного, неизвестного ранее материала многих архивов, стенограмм писательских съездов и заседаний правления Союза польских писателей, писем Ивашкевича, его записных книжек, опубликованных и еще не опубликованных дневников писателя.

Основное внимание в книге уделено, как отмечает сам автор, «политической биографии писателя», его отношению к политике и политикам, к эмиграции, к соседям Польши – Германии и СССР, его жизненной позиции, взглядам на историю и культуру. Автор дает выборочный анализ литературных текстов писателя – лишь тех, по которым можно судить об общественных и политических взглядах писателя.

М. Радзивон прослеживает годы детства и юношества Ивашкевича – годы формирования его личности. Ярослав Ивашкевич родился в деревне Кальник Киевской губернии, где его отец, изгнанный из университета за участие в национально-освободительном восстании 1863 г., служил бухгалтером на сахарном заводе. Говоря о семейных традициях Ивашкевича, можно вспомнить и об интересе писателя к своей родословной, что сказалось на восприятии им мира во всей его сложности. «Мой дед, – рассказывал Ивашкевич в письме (17.XI.1973) Эдмунду Янковскому, – имел медаль “За усмирение польского мятежа” и вместе с тем был в ссылке в Калуге, а двое его сыновей участвовали в восстании 1863 года. Один из них погиб. Все это было не так просто» [5. S. 225]. Будущий писатель учился в елисаветградской и киевской гимназиях, на юридическом факультете Киевского университета и в Киевской консерватории. Константин Паустовский, в те же годы, что и Ивашкевич, учившийся в киевской гимназии, писал: «Я могу утверждать, не боясь ошибиться, что Ивашкевич испытывал те же влияния трех культур, какие испытывали и мы все, киевляне, – культуры русской, украинской и польской. Это сказалось на его формировании человека и писателя» [6. С. 8].

Ивашкевич не стал ни юристом, ни композитором, ни актером (он увлекался также и театром). Верх одержало писательское призвание, хотя любовь к музыке у него осталась на всю жизнь и многие свои книги он посвятил музыке и музыкантам – творчеству Шопена, Баха, выдающегося польского композитора Кароля

² Борейша Ежи (1905–1952) – публицист, политический и культурный деятель.

³ Квятковский Ежи (1927–1986) – литературный критик.

⁴ Береза Хенрик (р.1926) – литературный критик.

Шимановского, своего двоюродного брата, с которым его связывала многолетняя дружба.

Поэтический дебют Ивашкевича состоялся на страницах польского киевского журнала «Ріо́го» в 1915 г. А осенью 1918 г. Ивашкевич переехал в Варшаву, где вместе с молодыми талантливыми поэтами Юлианом Тувимом, Антонием Слонимским, Яном Лехонем и Казимежем Вежиньским принял участие в создании наиболее влиятельной в 1920-е годы поэтической группы «Скамандр» (по названию реки, протекавшей близ древнегреческой Трои). Начиная с 1925 г., Ивашкевич много путешествовал по Европе, неоднократно бывал в Италии, Франции, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Испании, Дании. М. Радзивон впервые подробно рассматривает увлечение Ивашкевича в 1920-е годы идеями немецких интеллектуалов из круга Стефана Георге о роли в истории сильной авторитарной личности и разочарование в них после прихода к власти в Германии Гитлера.

В 1920–1930-е годы Ивашкевич издал несколько сборников стихов, романов и повестей, которые выдвинули его на авансцену польской литературной жизни. Им были созданы шедевры польской новеллистики – рассказы «Барышни из Волчи́ков», «Березняк» (оба – в 1932 г.) и др.⁵, исторический роман «Красные щиты» (1934) из эпохи польского средневековья. Центральная проблема этого романа, рассмотренная на примере судьбы князя Генриха Сандомирского (1135–1166) – выбор между активным действием и пассивно-созерцательной позицией, выше которых писатель ставит внутреннюю духовную жизнь. Именно этот роман выделяет М. Радзивон в творчестве Ивашкевича 1930-х годов, видя в нем облеченное в исторический костюм неприятие писателем использования немецкой культуры в политических целях.

В годы Второй мировой войны усадьба Ивашкевича Стависко под Варшавой стала прибежищем для многих терпевших бедствия во время гитлеровской оккупации Польши литераторов, музыкантов, артистов. Тогда же писателем были созданы прекрасные рассказы «Битва на Сейджмурской равнине» и «Мать Иоанна от Ангелов» (между прочим, по нему Ежи Кавалерович в 1961 г. снял широкоизвестный фильм) и ряд других произведений. М. Радзивон подробнее останавливается на рассказе «Битва на Сейджмурской равнине» из эпохи религиозной войны в Англии XVII в., считая его «мощным антигероическим манифестом», утверждающим, что «личность не творит историю, а подчиняется ей» [4. S. 170]. К этому можно добавить, что в этом рассказе, как и в довоенных новеллах, жизненная философия писателя – бессилие одиночек повлиять на ход истории и необходимость стремления к внутренней свободе как неотъемлемому свойству человека и условию его существования проявляется не напрямую, а в поступках, высказываниях и размышлениях героев. При этом Ивашкевич избегает однозначных суждений. Он видит антиномичную сущность жизни, но эта жизнь образует некое целостное единство.

И в послевоенной прозе Ивашкевич достигает такой глубины психологического изображения, которая позволяет отнести многие его произведения к числу выдающихся творений мировой литературы. Жизнь, любовь, смерть – коренные проблемы человеческого бытия, всегда волновавшие писателя, воплощаются им в красочном, «проницательном и поэтическом», по отзыву Паустовского, изображении мира, в воссоздании трудноуловимых состояний и движений души человека.

Из обширного послевоенного творчества Ивашкевича М. Радзивон выделяет несколько произведений, в которых наиболее наглядно раскрывается отношение писателя к миру, истории, культуре. К ним относится рассказ «Взлет» (1957), один из ключевых в новеллистике Ивашкевича. В нем ведется художественная полемика

⁵ Отмечу, что по этим рассказам Анджеем Вайдой поставлены известные фильмы «Березняк» (1970), «Барышни из Волчи́ков» (1979).

ка с А. Камю. Споря с автором «Падения», Ивашкевич утверждает, что духовная опустошенность и жестокость не являются неизбежным уделом человека, а порождаются определенными социально-историческими обстоятельствами. Герой Камю, осознав свою трусость, размышляет о драме бесцельного существования. Герой Ивашкевича не теоретизирует – он переживает драматические события современности: трагическую смерть двух еврейских девушек, действия отца, который «убивал людей» (был в партизанском отряде), заключение брата в Освенциме, ссылку матери и второго брата в Казахстан, измену друга и необходимость донести на него... В этой перспективе комплекс вины, переживаемый повествователем у Камю, представляется ничтожным. Новелла Ивашкевича говорит о границах свободы и зависимости человека от окружающего мира и о том, что правду о человеке надо искать не в сфере философских абстракций, а на самом дне его психики.

Отдельную главу М. Радзивон посвятил одному из самых значительных произведений Ивашкевича и всей польской литературы XX в. – роману-трилогии «Хвала и слава» (1956–1963) о судьбах польской интеллигенции в XX в. Этот роман, широкий по охвату событий (от начала Первой мировой войны до конца Второй), насыщен раздумьями героев о патриотизме, судьбах Польши и ее повстанческих традициях, об искусстве, жизни и смерти. Один из главных героев романа, мечтательный интеллигент Януш Мышинский (во многом alter ego писателя) погибает от пули эсэсовца. В своем предсмертном письме он высказывает мысль о том, что надежной опорой польской нации является ее культура, ее богатые многовековые традиции, ценности, признанные Европой и всем цивилизованным миром, а не безоглядный – благородный и отважный романтический порыв, как правило бесплодный, приводящий к трагическим последствиям.

К сожалению, автор монографии совсем не касается сердцевины обширного творчества Ивашкевича – его поэзии. Ее вершина – последние книги стихов: «Итальянский песенник» (1974), «Карта погоды» (1977), «Вечерняя музыка» (1981, издан посмертно). Говоря о книге стихов «Карта погоды», Ивашкевич заметил: «Это как раз то, что меня всегда волновало: чтобы мой пессимизм был оптимистичным» [7. S. 50]. Мотивы последних стихов, как и новелл, Ивашкевича – умудренность старости, память о прошлом, которая уходит в небытие вместе с ее носителем, апология жизни, которая вступила в фазу умирания и с которой надо достойно проститься. В них поэт достиг, по словам польского исследователя Я. Рогозиньского (с которым нельзя не согласиться), «такой степени совершенной простоты, которую можно сравнить только с простотой самых ярких лириков – Гёте или Мицкевича» [8. S. 280].

Большую часть книги М. Радзивона занимает рассказ об общественной деятельности Ивашкевича в ПНР и его взаимоотношениях с писательской средой и руководством страны. Действительно, в послевоенные годы напряженный литературный труд Ивашкевич сочетал с ответственными общественными и литературно-организационными обязанностями. В 1946–1950 гг. и с 1959 г. до конца жизни он возглавлял Союз польских писателей, был главным редактором ведущего литературного ежемесячника «*Twórczość*». Он был депутатом польского сейма и председателем Всепольского комитета защиты мира, членом Всемирного совета мира. В 1970 г. он получил Ленинскую премию «За укрепление мира между народами» (к чему скептически отнеслись многие польские литераторы и что лишило писателя шансов на получение Нобелевской премии).

В 1980–1990-е годы Ивашкевич подвергся ожесточенной критике со стороны наиболее радикальных антикоммунистических критиков и публицистов за «сервизм» по отношению к властям ПНР. М. Радзивон цитирует высказывание Густава Херлинга-Грудзиньского, по оценке которого роль Ивашкевича в общественно-политической жизни ПНР свелась к «приданию новому строю некоего

культурного лоска» [4. S. 490]. Приведу не менее язвительное суждение критика Яна Вальца, который писал об «эстетизации тоталитаризма» Ивашкевичем, о том, что «эстетствующий и вместе с тем совершенно бесцветный Ивашкевич, не затрагивающий в своем творчестве никаких тем, которые могли бы быть небезопасными для власти, которые могли бы возбуждать какие-то споры, беспокоить “не соответствующим подходом”, оказался для коммунистов необыкновенно ценным приобретением» [9. S. 83].

Такая оценка в высшей степени несправедлива. Ивашкевич сознательно выполнял миссию посредника между писательской средой и властными структурами, потому что ему не были безразличны судьбы Польши и ее культуры. Он упорно отстаивал писательские интересы в бесконечных тяжбах с чиновниками, хотя ему и приходилось идти на уступки и компромиссы, навлекая на себя упреки коллег по писательскому цеху. О правителях ПНР Ивашкевич отзывался так: «Мне всегда казалось, что они интеллигентны и сознательно стремятся к каким-то своим целям, а я при этом смогу помочь польской культуре. К сожалению, все они болваны» [4. S. 488].

Приведу запись из дневника Ивашкевича (8 января 1962 г.), которая характеризует позицию писателя: «В конце концов вся моя политика рассчитана на долгое время, и прежде всего на обеспечение *влияния* польской литературы где бы то ни было – а этого можно достичь только договорившись с партией, с советскими, чешскими писателями и, конечно, с Западом. Не надо смотреть, как баран на новые ворота, на каждое иное мнение и трактовать иные взгляды как злостную каверзу. А именно так выглядят на Западе Бажан, Сурков, Чаковский» [3. S. 496].

«Он знал, – пишет М. Радзивон, – что его присутствие во всех этих организациях имеет в большей степени декоративный характер, но считал, что нет иного способа участвовать в общественной жизни, влиять, хотя бы отчасти, на ход политических событий. В то же время он охотно подвергался иллюзиям – ему нравились все эти международные съезды, он любил и хотел встречаться с европейскими интеллектуалами и творцами, он ощущал себя, и не без оснований, равноправным членом европейской интеллектуальной и художественной элиты» [4. S. 482–483].

Об осознанном стремлении писателя защитить польскую культуру свидетельствуют факты и документы, приводимые М. Радзивоном, который попытался дать взвешенную оценку публичной деятельности писателя: «С одной стороны, она была повинностью, данью довоенного интеллектуала послевоенному авторитарному режиму, а с другой – проистекала от искренней убежденности в том, что никто не может лучше его представлять Польшу, независимо от того, кому в данный момент принадлежит в ней власть» [4. S. 483]. Трудно, однако, согласиться с упреком автора книги Ивашкевичу в том, что в 1970-е годы писатель «не сориентировался во времени», не выступив более резко против ограничения свободы творчества в ПНР. Конечно, Ивашкевич «старался достичь того, что можно было достичь без конфликта с властями» [10. S. 19], как писал с уважением к писателю его идеологический антагонист Ян Юзеф Щепаньский, преемник Ивашкевича на посту председателя Союза польских писателей. Но, во-первых, такая политика приносила свои плоды, ее придерживались многие интеллектуалы. Например, выдающийся историк польской и русской общественной мысли Анджей Валицкий, по его словам, всю жизнь придерживался «принципа внутрисистемного сопротивления, основанного на противопоставлении режимной идеологии свершившихся фактов, расширяющих сферу свободы, без явных нападок на социалистический фасад государства...» [11. S. 143]. А во-вторых, в целом ряде случаев Ивашкевич открыто выступал против партийно-правительственных чиновников. Так, в апреле 1978 г. на банкете по случаю XX писательского съезда в Катовицах катовицкий воевода Здзислав Горчица пригрозил расправой Анджею Брауну за резкую критику культурной политики партии. Ивашкевич поддержал Брауна и в знак протеста

против оскорбительного выступления воеводы вместе с другими писателями демонстративно покинул правительственный прием [12. S. 299–301]. На заседании съезда делегаты восторженно приветствовали Ивашкевича: «все с воодушевлением встали (и правые, и левые, даже те, кто не любит “Иваха”), горячо ему аплодируя. Старик был взволнован. Это была его великая минута», – вспоминал участник событий Лешек Пророк [13. S. 201].

К тому же следует сказать, что при жизни Ивашкевича никто не мог предвидеть стремительного развития событий в 1980-е годы и крах «развитого социализма» в Восточной Европе.

В течение многих десятилетий Ивашкевич был в центре литературной и культурной жизни страны. Как никто другой, он олицетворял преемственность современной ему польской культуры и по отношению к периоду двадцатилетнего существования независимой Польши между двумя мировыми войнами, и по отношению к предшествующим эпохам. Для него значительные создания культуры прошлого, помимо познавательной ценности, т.е. запечатленной в них объективной правды своего времени, формируют миропонимание и эстетический вкус современных художников и писателей. Они вновь и вновь вступают в живое соприкосновение с каждым новым поколением, с каждой исторической эпохой. «Без животворных источников, берущих начало в глубинных пластах культуры, я не только не мог бы творить, но вообще не мог бы существовать. Я понял, какими тесными, нерасторжимыми узами связаны мы с нашим культурным наследием: мы не можем жить, творить, устремляться в будущее без этой важной точки опоры», – писал Ивашкевич [14. С. 56]. Он был убежден в том, что нельзя представить себе полноценную литературу, возникшую вне традиций национальной культуры и ее языка. Это имеет в виду и М. Радзивон, когда пишет об отношении Ивашкевича к эмиграции: «У него не было никаких иллюзий по поводу роли и значения эмиграции в польской интеллектуальной жизни». Погружение в иную традицию, в другой язык для Ивашкевича было равносильно писательской смерти. «Польша здесь, и от этого никуда не деться», – записал он в дневнике [4. С. 486].

Эту мысль Ивашкевич развивал во многих своих высказываниях. «Человеческая личность, – по его словам, – может обрести подлинную значительность, полностью развить свои склонности только в сфере своей культуры, своего языка» [14. С. 57]. В этой связи он писал о «величайшем богатстве» любого народа – его языке, значение которого «не определить никакими мерками, никакими масштабами». «Язык помогает нам созидать будущее, постигать настоящее и хранить прошлое. Он помогает нам жить» [14. С. 184–185].

Ивашкевич высоко ценил вклад польской литературы в мировую культуру. Например, он писал о том, что рассказы Тадеуша Боровского «нельзя даже сравнить с тем, что было написано во всем мире на эту тему. Это высшее достижение в литературе такого рода» [15. S. 5]. Удельный вес польской литературы в мире мог бы быть еще более весомым, если бы не ограниченная сфера распространения польского языка. Именно это имел в виду Ивашкевич, когда, говоря о романе Элизы Ожешко «Над Неманом», с горечью заметил: «Если бы этот роман написал иностранец, его превозносили бы до небес и изучали. Как, скажем, “Улисса” Джойса» [14. С. 158]. То же самое он писал в дневнике о Стефане Жеромском: «Если бы Жеромский был французом или англичанином, его бы читали и комментировали как Клоделя или Эллиота [...] Мы живем жизнью Европы, но Европа не выпитывает нашей жизни. И Россия тоже. Пока не выпитывает» [3. S. 50].

Ивашкевич много размышлял о единстве мировой культуры, особенно значительной ее части – европейской: «Люблин, Москва, Киев, Париж, Женева, Рим – это наше европейское наследие» [7. S. 50]. Развитие европейской культуры – это единый процесс и всеобщее достояние. Встреча культур Востока и Запада Евро-

пы, видимая Ивашкевичем, по его словам, «в одной общей раме» [14. С. 417], – это всегда взаимопроникновение и взаимообогащение.

Ивашкевич был посредником, крепким связующим звеном не только между прошлым и настоящим, но и между польской, западноевропейской и русской культурами.

М. Радзивон рассказывает о поездках Ивашкевича в Советский Союз, его встречах с советскими писателями, с руководителями ССП и политическими деятелями, в том числе с Н.С. Хрущевым (в мае 1959 г.), в дни работы III съезда советских писателей, на котором Ивашкевич был во главе делегации польских писателей). Большое впечатление произвели на писателя беседы с А. Сурковым, И. Эренбургом и другими о сталинском периоде жизни страны, о репрессиях против литераторов и деятелей культуры. «В сумме все это было ужасно, страх был тем фактором, который сформировал умы этих людей» [4. С. 364], – записал Ивашкевич в дневнике. Автор монографии упоминает о речи Ивашкевича на III Съезде Союза советских писателей в мае 1959 г., в которой тот позволил себе высказаться за «независимость творческой мысли», вызвав неудовольствие хозяев съезда. «Текст речи в “Литературной газете” исказили», – приводит Радзивон запись Ивашкевича в карманном календаре [4. С. 361]. Дополню рассказ об этом инциденте. «Порядочные люди так не поступают», – заявил Ивашкевич (по отчету референта Инкомиссии ССП В. Борисова) (цит. по [16. С. 37]), а в письме М. Грыдзевскому от 26 августа 1959 г. Ивашкевич писал: «Моя речь в Кремле была небольшой сенсацией. Софронов сказал: “Опять полячишки крикают”. Понятно, что она нигде не была опубликована in extenso» [17. С. 138]. И это было не единственным проявлением бесцеремонного обращения с текстами писателя в Советском Союзе. «Сегодня, в день съезда (XXII КПСС), – записал Ивашкевич в дневнике 17 октября 1961 г., – моя статья в “Правде”. Даже по сравнению с тем, что я “поправлял”, почти что под диктовку Романовича, – все переделано с использованием банальнейших выражений. С ними абсолютно нельзя иметь дело! Большая для меня неприятность...» [3. С. 482].

Путь произведений Ивашкевича к русскому читателю также не был легким. Вот один характерный пример. В феврале 1962 г. первый секретарь Ленинградского обкома КПСС, секретарь ЦК КПСС И.В. Спиридонов направляет в ЦК КПСС записку, в которой ставится вопрос о целесообразности демонстрации фильма Ежи Кавалеровича «Мать Иоанна от ангелов» по новелле Я. Ивашкевича. «Фильм, – говорилось в записке, – ставящий целью показать столкновение материалистического и идеалистического мировоззрения, разоблачение религии, по существу пропагандирует религиозную идеологию, не несет зрителю ничего познавательного, идейно ценного с точки зрения материалистической идеологии, насыщен эротикой, садизмом, патологическими сценами, мистикой. Авторы даже не пытаются вскрыть классовую сущность религии как оружия угнетения и одурманивания трудящихся». Фильм, говорилось далее, «проникнут духом сочувствия и оправдания фанатизма. Сцены борьбы любви и веры, “божественного и дьявольского” могут оставить у верующих или колеблющихся только подтверждение их собственных сомнений, вызвать симпатии у верующих к фанатическому “геройству” ксендза». «Все действие, – отмечал автор записки, – фактически происходит вне времени и пространства. Если же отнести содержание фильма к XVII веку, то постановщики не показывают действительную социальную роль монастырей той эпохи».

«Не отрицая художественных достоинств фильма», автор приходит к выводу: «показ его на экранах страны нанес бы вред делу коммунистического воспитания нашего народа».

В ответе отдела культуры ЦК КПСС на записку Спиридонова отмечается, что фильм был куплен по рекомендации польского посольства, он премирован на международном фестивале. В Польше его считают полезным в связи с антиклерикальным содержанием, к тому же он создан по рассказу председателя Союза польских

писателей Я. Ивашкевича. Отказ от покупки этого фильма может быть болезненно воспринят польской общественностью. В 1961 г. советской стороной было приобретено лишь 7 польских кинокартин (отклонено 12), тогда как польская сторона купила 57 советских фильмов. Что касается фильма «Мать Иоанна от ангелов», то решено ограничить его показ, воздержаться от повторного показа [18]⁶.

М. Радзивон не рассматривает, к сожалению, отношения Ивашкевича к русской культуре, которая имела колоссальное значение для формирования художественных и этических позиций писателя. Портрет писателя будет недостаточно выразительным, если не сказать об этом хотя бы нескольких слов.

Ивашкевичу принадлежат поэтические описания природы и пейзажей не только Польши или Италии, куда он особенно любил ездить, но и Украины, и России, которые всегда присутствовали в его художественном сознании. В «Книге моих воспоминаний» он, например, вспоминает Саратов, куда в январе 1916 г. был эвакуирован Киевский университет: «Саратов оказался милым городком, утопающим в снегу, на высоком берегу Волги с видом на черную ленту замерзшей реки, по которой ездят на прогулки на великолепных рысаках. Здесь русскость, сущность “великой бабушки России” из “Обрыва” Гончарова, дремала в улочках с дачами и особняками на высоких склонах берега, в розовых купеческих домах с башенками – одним словом, то, что вошло потом как фиктивная Астрахань в мой роман “Бегство из Багдада”. В Саратове тогда кипела жизнь – много молодежи из разных эвакуированных сюда учреждений [...] Давали множество концертов, был прекрасный театр, где я увидел чеховского “Иванова”» [19. S. 155].

Ивашкевич был крупнейшим знатоком русской литературы, много писал о ней (начиная с гимназического сочинения «Поэзия русской действительности в “Евгении Онегине”» [19. S. 65]), переводил (в частности Л. Толстого, Тургенева, Чехова, Бунина), пропагандировал ее в Польше. «Больше всего, – писал он, например, в заметке “Я вас очень люблю”, – я люблю двух русских писателей: Льва Толстого и Антона Чехова. Но если к Толстому я отношусь как к недостижимому образцу писательского искусства, как к патриарху всемирной литературы, то мое отношение к Чехову более интимно. Оно проникнуто глубокой любовью, я его люблю как брата. Конечно, он тоже является недостижимым образцом...» [14. С. 92]. Небальные, вдохновенные слова находил Ивашкевич и тогда, когда писал о Пушкине, Достоевском, Тургеневе, Бунине, Блоке, Шолохове, Паустовском, Ахматовой и многих других русских писателях. Приведу две любопытных записи из дневника писателя. Одна из них (от 15 марта 1962 г.) о встрече с Верой Пановой: «Это очень милая женщина и, как истинно русская женщина, намного глубже и рассудительнее любой из наших» [3. S. 514]. Вторая запись – о визите в Стависко В. Катаева, И. Юзовского и С. Чиковани: «С них спала кора официальщины (слушая Катаева, я все время думал о финале “Сына полка”⁷), они стали весьма симпатичными европейскими людьми, причем это люди старшего возраста, их молодость – это и моя молодость, отсюда забавные воспоминания о Надсоне, Северянине (которого необходимо припомнить); много о Мандельштаме, Бунине. Видно, что они после XXII съезда. Во всяком случае было приятно, лучше, чем прежде – меньше притворства с их стороны. Мы, я и Федецкий⁸, проявили огромное знание русской литературы. Они о нашей, разумеется, ничего не знают – вечно одно и то же. Но зато уже меньше спеси и желания поучать» [3. S. 519].

В зеркале русской литературы Ивашкевич стремился увидеть облик России, постичь феномен ее самобытной истории и культуры, что позволяло ему преодолевать сложившиеся в польском обществе предубеждения и стереотипы. В своих стихах в разные периоды жизни Ивашкевич обращался к проблеме стирания гра-

⁶ Записка, найдена в архиве А.С. Стыкалиным, любезно представившим ее мне для публикации.

⁷ Слащавая сцена встречи героя со Сталиным.

⁸ Федецкий Земовит (р.1923) – переводчик, член редколлегии журнала «Twórczość».

ниц между польским и русским мирами. В стихотворении «России» (1928, сборник «Возвращение в Европу») он так выразил сложность и противоречивость восприятия России и ее культуры:

Что, Россия, скажу тебе – дескать Пушкина сравнивать не с кем?
Или что беспощадно исхлестан я был Достоевским?
Или то, что я с детства воспоминаньем отравлен:
Свет ночных куполов, и степное дыханье, и Скрябин?
Или то, что в лонах твоих возрастает сладкая нива?
Или то, что пропасть меж нами, которая не заполнима?
Рубеж и рубец, навеки болящая рана?
Или то, что тебя не люблю? Или то, что ты мне желанна? [20. С. 36]

Полувеком позже, в поэме «Азиаты» (сборник «Карта погоды», 1977) поэт вновь писал о проникновении русской культуры в польскую жизнь, несмотря на исторически сложившееся противостояние Польши и России:

*Трава Толстого
Хлеб Достоевского
Плакучие ивы Чайковского
Я в них погружен по шею
Не вырубят их сабля Володыевского...*

Книгой, подводящей своего рода итог многообразным творческим связям Ивашкевича с Россией, является «Петербург» (1975). Сквозь призму легендарного города на Неве Ивашкевич рассмотрел в ней многие ключевые вопросы русской истории и культуры, их связь с судьбами Польши и поляков.

«Подлинное, великое искусство, – по словам Ивашкевича, – спаивает воедино народ, оно – оплот и опора. Такая опора для поляков – поэзия Мицкевича, музыка Шопена» [14. С. 358]. Не будет преувеличением сказать, что опорой для польской культуры является и творческая деятельность Ярослава Ивашкевича.

В этом убеждает читателя и книга М. Радзивона. В ней объемно представлена яркая личность большого мастера слова, который глубоко чувствовал свою ответственность за прошлое и будущее польской культуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Przybylski R.* Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916–1938. Warszawa, 1970; *Kwiatkowski J.* Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa, 1975; *Zaworska H.* Opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza. Warszawa, 1985; *Zawada A.* Jarosław Iwaszkiewicz. Warszawa, 1994; *Melkowski S.* Świat opowiadań. Krótka forma w prozie Jarosława Iwaszkiewicza po roku 1939. Toruń, 1997.
2. *Вєрвєс Г.* Ярослав Ивашкевич. Литературно-критический очерк. М., 1985.
3. *Iwaszkiewicz J.* Dzienniki. Warszawa, 2010. Т. II. 1956–1963.
4. *Radziwon M.* Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie. Warszawa, 2010.
5. *Twórczość.* 1994. № 2.
6. *Паустовский К.* Встречи с другом // Воспоминания о Ярославе Ивашкевиче. М., 1987.
7. *Twórczość.* 2005. № 2/3.
8. *Рогозинский Я.* Ярослав Ивашкевич // Творческая интеллигенция и мировой литературный процесс. М., 1987.
9. *Walc J.* Wielka choroba. Warszawa, 1992.
10. *Szczeptański J.J.* Kadencja. Kraków, 1989.
11. *Walicki A.* Idee i ludzie. Próba autobiografii. Warszawa, 2010.
12. *Krajewski A.* Między współpracą a oporem. Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL (1975–1980). Warszawa, 2004.
13. *Prorok L.* Dziennik 1949–1984. Kraków, 1998.
14. *Ивашкевич Я.* Люди и книги. М., 1987.
15. *Borowski T.* Pożegnanie z Marią i inne opowiadania. Warszawa, 1967.
16. *Аєапкiна Т.П.* Русские контакты Ярослава Ивашкевича 1945–1950-е годы (по материалам архивных разысканий) // Славяноведение. 2001. № 1.
17. *Grydzewski M., Iwaszkiewicz J.* Listy 1922–1967. Warszawa, 1997.
18. РГАНИ. Ф. 5. Оп. 36. В. 147. Л. 8–9.
19. *Iwaszkiewicz J.* Książka moich wspomnień. Kraków, 1968.
20. *Ивашкевич Я.* Избранное. М., 1973.



© 2011 г. И.В. ЧУРКИНА

СЛОВЕНСКИЕ ИСТОРИКИ ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА

Статья представляет собой воспоминания автора о коллегах из Словении, ученых-историках послевоенного поколения. Их консультации во многом помогли молодым коллегам, в том числе и из СССР, избрать наиболее интересные темы для исследований, стать впоследствии серьезными учеными.

The article presents the author's memories about the Slovenian colleagues, historians of the post-war generation. Their consultations have helped a lot the young colleagues including Soviet ones to choose the more interesting subjects of research, as well as became serious scholars in the future.

Ключевые слова: Словения, славянские историки послевоенного времени.

Послевоенное поколение словенских историков, пришедшее в науку накануне Второй мировой войны или сразу после нее, очень много сделало для моего становления как историка. Все они – Ф. Цвиттер, Б. Графенауер, Д. Кермавнер, В. Мелик, Ф. Клопчич, М. Бритовшек были очень разными по взглядам и характеру, но их объединяли и общие черты.

Историки этого поколения были искренними патриотами своей родины (Словении и Югославии), все они так или иначе участвовали в борьбе против фашистов за ее освобождение. Это были очень образованные люди, часть из них стажировалась в известных европейских университетах, что придавало их взглядам широту и объективность. Они прекрасно знали историческую литературу, не только немецкую, французскую и английскую, но и русскую, чешскую, польскую. Написанные ими статьи и книги отличались ясностью изложения, выводы подкреплялись выверенными фактами, на которые спокойно можно было ссылаться, не проверяя их. У них были разные точки зрения на некоторые вопросы истории Словении, они полемизировали друг с другом в печати. Особенно это касалось двух видных историков – Франа Цвиттера, человека широких либеральных взглядов, и Душана Кермавнера, убежденного марксиста.

И еще одну общую черту мне хотелось отметить у этих историков: их доброжелательность по отношению к младшему поколению, желание помочь. Это я очень хорошо ощутила на себе. Я только начинала изучать историю Словении, а в Советском Союзе не было специалистов, которые конкретно могли бы мне помочь.

Чуркина Искра Васильевна – д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.

Первым, кто помог мне начать разбираться в словенской истории, был академик Милко Кос. Он приезжал в Москву в конце 1950-х годов, когда я училась в аспирантуре и писала диссертацию о словенских городах и горном деле в XVI в. Я читала словенскую и немецкую литературу и запуталась в названиях городов и сел. Кос помог мне идентифицировать немецкие и словенские обозначения.

Много мне дало общение с Бого Графенауером (1916–1995). Он родился в семье видного словенского литературоведа и этнографа Ивана Графенауера. Активно участвовал в политической жизни довоенной Югославии, примкнув к кругу христианских социалистов. Во время оккупации сотрудничал с Освободительным фронтом Словении, был арестован и интернирован в Италию, где провел более года вплоть до ее капитуляции. После победы над фашистами Графенауер работал в Югославской комиссии по границам при Министерстве иностранных дел в Белграде в качестве эксперта. В 1946–1988 гг. он преподавал историю Словении на философском факультете Люблянского университета. После выхода на пенсию Графенауер трудился в Словенской Матице и некоторое время был ее председателем. Особое внимание он уделял Клубу каринтийских словенцев в Любляне, поскольку его предки происходили из Каринтии. Графенауер общался со мной достаточно часто, читал мои первые труды по истории Словении. Он очень тактично указал мне, какие книги по словенскому средневековью не стоит принимать во внимание, поскольку факты, приведенные в них, не соответствуют действительности. Он же, довольно равнодушно приняв мои опусы по средневековой Словении, похвалил мою статью «Югославянские стипендиаты Славянского учительского института», и эта похвала стала последним толчком в принятии мною решения заняться изучением русско-словенских связей, привлекая материалы русских архивов. В своих разделах по средневековой словенской истории я широко пользовалась его капитальным трудом «История словенского народа» (пять томов), о котором я самого высокого мнения. Его обширные знания, использование самых разнообразных источников и литературы на многих языках, широкий диапазон его исследований ставит его в ряды наиболее серьезных европейских историков XX в.

Душан Кермавнер (1903–1975) убежденный коммунист, включился в коммунистическое движение уже с 1920 г. Затем последовала подпольная работа, аресты, тюрьмы в королевской Югославии. После оккупации он сразу же начал борьбу против фашистов, был арестован, несколько лет до освобождения провел в концентрационных лагерях, в том числе в Бухенвальде. Рабочее движение в словенских землях, революционные выступления в России, а именно революция 1905 г. и Октябрьская революция находились в центре его внимания. Хотя Кермавнер был твердым марксистом, но его работы, особенно подробные комментарии к «Словенской культурно-политической истории» Ивана Приятеля, написанные с привлечением огромного фактического материала из архивов и прессы, имеют непреходящее значение. Он выступал в них с объективных позиций. Кермавнер с самого начала нашего знакомства опекал меня, указывал, какие книги и газеты, какие фонды в словенских архивах мне необходимо просмотреть по моей теме – он с самого начала считал, что я должна заняться русско-словенскими отношениями. Кермавнер познакомил меня с директором Славянской библиотекой Ф. Добровольцем, который помогал мне находить нужные книги и выдавал их мне на дом на субботу и воскресенье, когда библиотеки и архивы не работали.

Фран Цвиттер (1905–1988) родился в семье судьи в местечке Бела церкев. Отец его был родом из Каринтии. Фран Цвиттер окончил гимназию в Новом Месте, затем изучал историю и географию в Люблянском (1924–1926) и Венском (1926–1928) университетах, в 1930–1932 гг. стажировался в Париже. Несколько лет он работал учителем истории в классической гимназии Любляны, с 1937 г. – доцентом по специальности Всеобщая история Нового времени – на философском факультете Люблянского университета. Молодой историк активно участво-

вал в общественной жизни, примкнув к левому крылу либерального движения. Накануне вторжения фашистов он был одним из участников создания Общества друзей Советского Союза. Во время оккупации Цвиттер находился под наблюдением итальянских властей, а после капитуляции Италии – ушел к партизанам. С января 1944 г. по март 1945 г. он возглавлял Научный институт Освободительного фронта, который организовал сбор материалов, относящихся к периоду оккупации: указы и заявления оккупационных властей, прессу, выпускавшуюся партизанами и пособниками фашистов. Теперь эти материалы находятся в специальном отделе Архива Словении. Цвиттер представлял собою тип ученого, который часто показывается в кинофильмах и книгах – рассеянного и безгранично преданного науке. В 1956 г. я сопровождала его во время конгресса историков, проходившего в Москве и твердо усвоила, что если его оставить хотя бы на несколько минут, он обязательно придет не в ту аудиторию и не на то заседание. После войны в 1945–1947 гг. Цвиттер работал в Министерстве иностранных дел Югославии, занимаясь вопросом установления границ, затем с 1948 г. до выхода на пенсию в 1975 г. – на философском факультете Люблянского университета. Несколько лет он возглавлял Словенскую Матицу. Труды Цвиттера охватывают события не только в словенских землях, но и всей Габсбургской империи. Особенно его интересовала эпоха Словенского возрождения, которому он посвятил ряд исследований. Цвиттер сделал важные выводы, посвященные Иллирийским провинциям, деятельности видного словенского просветителя А. Линхарта.

Франц Клопчич (1903–1986) или как его называли в России Владимир Павлович, родился в Лотарингии в семье шахтера-эмигранта. В 1909 г. его отец вместе с семьей вернулся на родину. Он сочувствовал социал-демократам, и не без его влияния Франц Клопчич включился в рабочее движение еще будучи учеником реального училища в Любляне (1917–1923). В 1920 г. Франц вступил в Югославскую коммунистическую партию, вел активную работу как организатор и журналист, несколько раз арестовывался. В 1930 г. Клопчич по указанию партийного руководства отправился в Москву. В СССР он прожил 26 лет, из них 11 лет находился в лагерях. В 1956 г. он вернулся в Словению, работал в архиве Института рабочего движения. После выхода на пенсию в 1963 г. он написал около 200 работ: полемических статей о современных событиях, воспоминаний, исследований, посвященных рабочему движению. Большой интерес представляет его публикация воспоминаний югославских военнопленных, очутившихся в России во время Первой мировой войны и принявших участие в Гражданской войне на стороне большевиков, а также его воспоминания о жизни в советских лагерях. Последние высоко оценил известный словенский ученый Йозе Пирьевец. «После возвращения на родину в середине пятидесятых годов, – пишет Пирьевец в статье “Словенцы и русские (1918–2008)”, – этот убежденный большевик описал в книге воспоминаний “Десятилетия испытаний” (1980) свой крестный путь по московским тюрьмам и сибирским лагерям с такой искренностью, не переходящей в ненависть, которая превосходит даже произведения Солженицына». Мне Владимир Павлович очень помог: он ездил со мной по Словении, показав мне многие города и села, в том числе город рудокопов Идрию, село Шмартно при Литии – родину словенского филолога Даворина (Мартына Матвеевича) Хостника. Хостник долгое время учил детей в гимназии г. Рыльска Курской губернии. Он является автором первых словенско-русского и русско-словенского словарей и соответственно словенской грамматики для русских и русской грамматики для словенцев. В Шмартно я встретила внучатого племянника Мартына Матвеевича Янеза Хостника, который меня ознакомил с письмами ученого из России к родным. Теперь они находятся в музее Шмартно, созданном предпринимателем Магдой Брезникар, много сделавшей для того, чтобы вырвать из забвения имя этого замечательного словенского ученого и патриота.

Марьян Бритовшек (1923–2008) происходил из семьи мариборского торговца. В Мариборе он окончил гимназию, а затем в 1943 г. ушел в партизаны. После войны Бритовшек окончил философский факультет Люблянского университета, прошел специализацию по истории международного рабочего движения в Институте общественных наук в Белграде. В 1960 г. Бритовшек защитил докторскую диссертацию «Разложение феодальной аграрной структуры в Крайне», вышедшую отдельной книгой в 1964 г. С 1964 г. и до выхода на пенсию в 1993 г. он работал в Люблянском университете в качестве сначала доцента, потом профессора социологии. Хотя у Бритовшека имеются фундаментальные работы по истории Словении – о разложении феодальной системы в Крайне в конце XVIII в., о А. Фюстере, одном из демократических деятелей революции 1848 г. – в центре его исследований было европейское рабочее и коммунистическое движение. Он опубликовал ряд статей о I, II, III Интернационалах, о Парижской Коммуне, о деятельности Маркса и Энгельса в революцию 1848 г. Особенно большое внимание Бритовшек уделял России, Октябрьской революции, развитию коммунистического движения в СССР. Он опубликовал ряд монографий: «Борьба за ленинское наследство» (1976), «Царизм, революция, сталинизм» (1980), «Термидор Сталина» (1984) и др. Эти работы помимо прочего интересны тем, что он широко использовал европейские и американские архивы, труды европейских и американских ученых. Бритовшек был одним из немногих словенских историков, которые исследовали не только словенскую историю, но и историю Европы, России. Научные труды Бритовшека отличаются глубиной, критическим духом, фундаментализмом. Он искренне любил мою родину и горячо переживал события, происходившие в ней. Бритовшек много сделал, чтобы познакомиться меня со Словенией. Хотя наши темы и не совпадали, он много дал мне для понимания партизанского движения в Словении. Я особенно запомнила поездку с ним в Штирию на место гибели Похорского батальона партизан. Во время поездок в Словению я часто бывала у него в гостях, где меня всегда радушно встречала его жена Аня, тоже бывшая партизанка.

Но, пожалуй, наиболее прочные долговременные контакты у меня сложились с профессором Люблянского университета Василием Меликом (1921–2009), сыном видного словенского географа первой половины XX в. Антона Мелика. У Василия Мелика как и у меня в центре исследований был период словенской истории, начиная со Словенского возрождения и кончая образованием Югославии. Поэтому при каждом моем приезде в Словению мы много общались, обсуждая различные вопросы, новые документы, касающиеся нашей темы. Мелик прекрасно знал факты, в большинстве случаев взгляды наши совпадали. Он не только писал интересные статьи и книги, но и участвовал в издании воспоминаний видных словенских политиков – Й. Вошняка, И. Хрибара, Ф. Шуклье, В. Равнихара и др. Обычно воспоминания этих деятелей предворяли содержательные статьи Мелика. Работы Мелика отличаются глубиной, оригинальностью, комплексным подходом к изучаемым проблемам. С ним очень приятно было иметь дело: он отличался демократичностью, доброжелательностью, хорошим чувством юмора, неизменным интересом к жизни и к людям. Мелик участвовал в ряде международных проектах, в том числе и в советско-югославской публикации «Југословени и Русија» (Материалы архива М.Ф. Раевского. Београд, 1989. Т. 2. Кн. 1). Я хорошо знала семью Мелика – его жену Любу, его дочерей Елку и Живу, его зятя Стане Гранду, на моих глазах превратившегося в серьезного историка, со взглядами которого я не всегда согласна.

И еще мне хотелось бы сказать о двух филологах, также помогших мне понять словенские реалии.

Валентин Логар (1916–2002) родился в большой крестьянской семье, учился на философском факультете у словенского лингвиста-диалектолога Ф. Рамовша. Учебу в университете он закончил в 1940 г. Во время войны Логар и все его бра-

тя сражались в рядах Освободительного фронта Словении. За сотрудничество с ним Логар был арестован, сидел в итальянских тюрьмах. После войны он за поддержку резолюции Информбюро снова был арестован и в 1949–1950 гг. провел на каторге на Голом острове и в боснийских рудниках. Освободившись, Логар под влиянием своего учителя продолжил изучение многочисленных словенских диалектов, сначала работая в Словенской академии наук и искусств, затем занимаясь преподавательской деятельностью в Люблянском университете. Логар активно сотрудничал с советскими учеными в создании карты славянских диалектов.

Логар показал мне многие районы Словении еще во время моего первого приезда туда на семинар словенского языка, литературы и культуры в 1965 г., рассказал мне об особенностях словенского языка, о сложности формирования литературного языка словенцев, которые при своей малочисленности имеют 49 диалектов.

Помимо Логара мне хотелось бы упомянуть и профессора Франца Якопина (1921–2002), одного из наиболее разносторонних словенских славистов. Якопин окончил Люблянский университет. Помимо этого он в 1953–1954 гг. изучал в Геттингенском университете славистику, в 1959 г. в Кракове и Варшаве – полонистику, в 1973 и в 1978 гг. в Минске – белорусистику. Но главным делом его жизни всегда оставалась русистика. Он написал множество статей и книг, посвященных ей, в том числе «Граматику русского литературного языка», множество пособий для изучения русского языка. Якопин вместе с профессором Борисом Паттерну был первым, кто встретил меня и Володю Дыбо в Любляне на вокзале во время нашей первой поездки в Словению. И затем он всегда оказывал мне внимание, снабжал меня новой литературой по истории и лингвистике.

Словенские ученые, историки и филологи первого послевоенного поколения помогли мне в овладении моей профессией, за что я всю жизнь буду им признательна. Благодаря им я почувствовала глубокую симпатию к словенцам как народу, близкому нам по языку и культуре, долгое время боровшемуся за свою самобытность и сумевшему ее сохранить, несмотря на неблагоприятные условия существования.



А.А. ПРИГАРИН. Русские старообрядцы на Дунае: формирование этноконфессиональной общности в конце XVIII – первой половине XIX в. Одесса; Измаил; Москва, 2010. 528 с.

Монография А.А. Пригарина «Русские старообрядцы на Дунае: формирование этноконфессиональной общности в конце XVIII – первой половине XIX в.» посвящена проблематике, фактически табуированной в советский период, а потому открывающей перед современными исследователями широкие перспективы. И хотя в последние два десятилетия эта тема начала активно разрабатываться, все же продолжает проследиваться явный дефицит крупных конкретно-исторических исследований. Работа написана на базе обширного корпуса источников, включая документы картографического, мемуарного, эпистолярного, статистического и нормативно-правового характера, а также сочинения и свидетельства самих старообрядцев, выявленные как в архивных, так и в экспедиционных вариантах. Особо важно подчеркнуть, что книга А.А. Пригарина ориентирована на комплексный междисциплинарный подход с использованием наработок различных гуманитарных дисциплин – истории, этнографии, филологии, культурологии, демографии, социологии и других гуманитарных дисциплин, что придает ей в глазах читателей особую ценность. Как представляется, данное исследование позволит глубже понять мотивы и исторические последствия массового исхода приверженцев старой веры за пределы Российской империи.

Монография включает в себя шесть крупных глав, нацеленных на освещение различных проблем, связанных с жизнью придунайских старообрядцев.

Первая глава – «Южные общины дониконовского православия и появление старообрядцев в Нижнем Подунавье в

конце XVIII – начале XIX в.» посвящена начальному этапу расселения донских казаков-некрасовцев и социально смешанных масс русских староверов (липован) на территории турецкой Добруджи и южной части Бессарабии (Буджака). Вторая – разрастанию и стабилизации этой новой для региона этноконфессиональной общности в первой половине XIX в. Третья, являющая собой личный вклад автора в историографию, – анализу численности и демографических характеристик старообрядцев Буджака. Четвертая глава, названная автором «От поиска “праведной” земли до ее создания: религиозная практика старообрядцев на Дунае», включает подробное описание староверческих обителей, храмов и монастырей как на левом, так и правом берегу Дуная. Здесь же приводится история учреждения и становления Белокриницкой иерархии (1846). Пятую главу автор посвятил культурно-бытовым традициям липован и некрасовцев. Она включает в себя описание их быта, хозяйственной деятельности, структуры семьи и общинной организации, а также староверческих книг и рукописей. Шестая глава – «Формы идентичности старообрядцев на Дунае и историческое сознание их потомков» обращена к проблемам самосознания и ментальности. В ней А.А. Пригарин рассматривает специфику самоидентификации некрасовцев и липован в условиях иноэтничного и иноконфессионального окружения, анализирует их отношение к соседним этническим общностям, исследует представления исторического, эсхатологического, пространственно-географического характера, антропонимическую систему.

Оценивая в целом проделанную работу, можно с уверенностью констатировать, что А.А. Пригарину удалось успешно справиться с поставленными задачами. Аргументация и выводы А.А. Пригарина серьезных сомнений не вызывают. Автор приходит к заключению, что тенденция к масштабной миграции населения, спровоцированная в XVII в. неприятием новых форм организации церкви и канонов веры и подкрепленная в XVIII в. проектами модернизации общества по западным образцам, привела к середине XIX в. к образованию в придунайском регионе мощного, относительно стационарного анклава русской диаспоры, стоявшего на позициях духовного диссидентства. Более того, по его мнению, «создав адекватную модель жизнедеятельности на Дунае [...] некрасовско-липованское население становится привлекательным для ревнителей “древнего благочестия” по всей Евразии. А в результате дальнейшего развития возникает самобытный вариант (этноконфессиональный, диаспорный, субэтнический и т.п.) русской культуры».

Отмечая несомненные достоинства монографии, хотелось бы, однако, высказать несколько замечаний, которые, впрочем, не снижают высокую оценку проделанного труда.

Прежде всего, вызывает некоторые сомнения заголовок монографии – «Русские старообрядцы на Дунае». Броский и удачный в маркетинговом отношении, с научной точки зрения он представляется не вполне корректным, поскольку заявляет тему более широкую, чем содержание книги. Данное название ориентирует читателя на то, что все Придунайские анклавы староверов, расположенные на территории нескольких империй, – Габсбургской (Буковина), Российской (южная часть Бессарабии, т.е. Буджак – 1812–1856 гг.), Османской (Добруджа), а также вассальных по отношению к султану земель Дунайских княжеств, – будут в равной степени удостоены внимания автора. Однако в реальности А.А. Пригарин концентрируется главным образом на Бессарабии, привлекая материал из других районов едва ли не в качестве дополнительного. Более того, данный заголовок априорно подразумевает наличие в книге разделов, посвященных приверженцам многочисленных русских сект так называемых беспоповцев (молокан, духоборов, хлыстов,

скопцов), в большом количестве проживавших на обоих берегах Дуная. Тем более что эти секты не только историография, но и российское Министерство внутренних дел тех лет традиционно связывали с расколом. Однако на страницах монографии они без каких-либо дополнительных пояснений так и не появляются. К этому следует также добавить, что столь представительный заголовок обязывает автора хотя бы попытаться разобраться в местных старообрядческих толках и соглашениях (методика, типичная для современной историографии), а не пытаться презентовать местную староверческую диаспору в качестве единого этноконфессионального целого.

В данной связи можно также добавить, что избранная автором логика подачи материала может вызвать у не слишком искушенного читателя иллюзию о существовании в Подунавье некой единой официально непризнанной страны «Липовании», живущей в собственном замкнутом внутреннем пространстве. Однако социальный и юридический статус староверческих общин на территории разных государств был различным: от проживания на общих основаниях (Дунайские княжества) до полуавтономного (на Буковине) и автономного статуса на правобережье. В данной связи выглядит, по меньшей мере, странным тот факт, что автор не счел необходимым подробно остановиться на статусе староверов в империи Габсбургов до и после издания в 1780 г. так называемого толеранцпатента, а, главное, хотя бы в общих чертах обрисовать параметры османской системы миллетов (конфессионально-юридической и церковно-административной автономии), определявшей уклад жизни всех категорий иноверных подданных султана (причем, старообрядцев лишь в числе прочих). В контексте системы миллетов даже бы намек на принадлежность турецких староверов к ведомству Константинопольской патриархии вряд ли мог прозвучать на страницах книги.

В заключение хотелось бы, однако, отметить, что высказанные замечания не имеют принципиального характера и не преуменьшают значение монографии А.А. Пригарина, которую с полным основанием следует признать весомым вкладом в историю русского старообрядчества.

© 2011 г. *И.Ф. Макарова*

J. BRABEC. Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portréty (1991–2008). Praha, 2009. 316 s.

И. БРАБЕЦ. Господство идеологии и власть литературы. Исследования, критика, портреты (1991–2008)

Иржи Брабец (род. 1929) – один из самых известных чешских литературоведов послевоенного периода, активный участник реформаторского движения Пражской весны, издал сборник работ, написанных им после «бархатной» революции 1989 г. Книгу составили научные статьи, доклады на конференциях, предисловия, полемические заметки, но, собранные вместе, эти разные по жанру тексты складываются в достаточно цельный труд, основную тематику которого определяет его название. О чем бы автор ни писал, его прежде всего интересуют взаимоотношения, сопряжения, конфликты идеологии и литературы в чешской культурной истории с эпохи национального возрождения до современности.

Творческий путь Брабца во многом типичен для литературоведов его поколения. Сын рабочего, он пришел на философский факультет Карлова университета, имея за плечами опыт работы продавцом во время оккупации, после войны – участие в молодежном движении и учебу на подготовительных курсах рабочей молодежи. Научной работой он начал заниматься еще в студенческие годы, продолжил – в академическом Институте чешской литературы. В «Словаре чешских писателей после 1945 года» в статье о нем Иржи Голы напишет: «Б. вступил в литературную жизнь в начале 50-х годов, находясь под влиянием характерных для того времени схематических представлений об искусстве» (Slovník českých spisovatelů do roku 1945. Praha, 1995. Díl I. S. 66). Справедливости ради надо сразу же отметить, что с самого начала своей научной деятельности Брабец отличался как приверженностью к скрупулезной точности, так и самостоятельностью и смелостью мышления, которая проявлялась в его главах для академической «Истории чешской литературы» под общей редакцией Яна Мукаржовского (т. 3, 1961, редактор тома – Феликс Водичка), в работах о чешской поэзии конца XIX века (монография «На рубеже эпох», 1964), о поэзии XX в. (вопреки официальной точке зрения он высоко ценил творчество Фран-

тишека Галаса) и др. С конца 1950-х годов Брабец все более энергично включается в современную литературную жизнь на стороне жаждущих свободы слова и новых форм представителей молодого поколения, объединившихся вокруг журнала «Květen», в 1958 г. становится председателем редакционного совета этого журнала. В разгар Пражской весны Брабец – среди литераторов-реформаторов, а после ее разгрома, когда был образован (вскоре запрещенный) оппозиционный Союз чешских писателей под председательством Ярослава Сейферта, его избирают заместителем председателя.

В годы так называемой нормализации Брабец был уволен из Института чешской литературы, лишен права на работу по специальности и доступа к легальной печати. Работал билетером, ночным сторожем, но вместе с тем не только преподавал в подпольном университете, но продолжал научную и литературно-критическую деятельность в самиздатовских и эмигрантских журналах, вместе с другими литературоведами-диссидентами подготовил самиздатовский (1978) «Словарь чешских писателей», напечатанный затем (1982) в издательстве Йозефа Шкворецкого в Торонто, в котором были помещены статьи об авторах, выброшенных из официальной литературы. После «бархатной» революции Брабец снова получил возможность преподавать в Карловом университете, работать в Академии (сначала он на короткий срок вернулся в Институт чешской литературы, позже перешел в Институт Масарика как главный редактор собрания сочинений первого чехословацкого президента), участвовать в научных конференциях, выступать в печати. Его работы «после ноябрьского периода» и опубликованы в рецензируемой книге, которая дает представление о взглядах этого интересного ученого и предлагает его собственное решение целого ряда вопросов истории чешской литературы и литературной теории.

Брабец прежде всего – историк литературы, который, однако, воспринимает прошлое сквозь призму современности, что

ясно ощущается во всех его работах, всегда несущих в себе полемический заряд или, по меньшей мере, носящих полемический оттенок. Авторитеты для него в вопросе толкования истории чешской литературы – это Томаш Гарриг Масарик, блестящий чешский литературный критик и теоретик конца XIX – первой трети XX в. Франтишек Ксаверий Шальда, отчасти уже упоминавшийся Феликс Водичка и философ-диссидент Ян Паточка. Брабец солидаризируется с Масариком в оценке выдающегося чешского филолога эпохи национального возрождения Йозефа Добровского как «ключевой фигуры интеллектуальных усилий ее первого этапа» (s. 28), значение которого до Масарика, да и в последующее время, многими историками и филологами принижалось в пользу Йозефа Юнгманна. Он признает, что Масарик недостаточно внимания уделял эстетической стороне литературы и подчас впадал в морализаторский тон, но: «Все эти замечания не могут зачеркнуть тот факт, что в трудах Масарика литература понимается как сфера, в которой формируются проекты и модели современного человека и современного общества. Отсюда следует и важная роль критики, которая перестает быть незаинтересованным референтом о построении произведения, комментатором, определяющим значение художественного произведения для национальной литературы и становится заинтересованным сотворцом современной духовной жизни» (s. 49). Брабцу близка и дорога полемическая манера Масарика и то, что «как противопоставление господствующей патриотической идеологии Масарик полемически акцентировал научность» (s. 50). Рассматривая интерпретацию позиции Масарика Вацлавом Черны, автор книги подчеркивает: «Значение творчества Масарика определяется тем, что он провоцировал полемические столкновения, вызывал выступления оппонентов, которые были вынуждены снова и по-новому критически взвешивать поднятую им проблему» (s. 62).

Несколько статей в книге посвящено проблематике чешского модернизма и авангардизма, которая серьезно занимала Брабца еще в 1950–1960-е годы. Пишет он и о генезисе чешского межвоенного католического и почвеннического литературного течения «рурализма». Но наибольший интерес из работ историко-литературного плана представляют исследования вопроса об антисемитизме в чешской литературе: статья «Проявления чешского антисемитизма перед Первой мировой войной» и большое

исследование «Антисемитская литература в период нацистской оккупации».

Обращение к этой весьма острой тематике в известной мере соотносится с масариковскими публикациями и исследованиями автора. Стоит напомнить, что Масарика, а также и Бенеша, чешские националисты постоянно упрекали в «проеврейской позиции», в «проеврейских симпатиях», что особенно агрессивно звучало в годы оккупации. Брабец не анализирует специально взгляды Масарика на еврейский вопрос, но они, конечно же, оказали влияние на сам его выбор вопроса об антисемитизме в чешской литературе в качестве предмета анализа. Брабец утверждает, что «в Чехии не сформировалась какая-либо систематическая традиция антисемитизма» (s. 34), указывает на европейский контекст, в том числе и российский, в котором этот вопрос следует рассматривать, но в то же время не замалчивает отдельные антиеврейские мотивы в произведениях некоторых видных чешских писателей прошлого (Ян Неруда), стремится объяснить обстоятельства их появления. В целом же, по его убеждению, настоящие антисемиты оставались «на периферии национальной жизни» (s. 41).

Совершенно иная ситуация существовала в годы фашистской оккупации Чехии, когда антисемитизм был одной из основных установок идеологии «протектората Богемия – Моравия» и всей гитлеровской пропаганды. В работе Брабца «Антисемитская литература в период нацистской оккупации» речь идет не о немецкой литературе в Чехии, которая в то время решительно активизировалась, а именно о чешской литературе. Антисемитские выпады в крайне реакционной чешской прессе (выходившая в 1939–1942 гг. агрессивная ежедневная газета «Vlajka», бульварный еженедельник «Arijský boj» и другие издания того же типа) сочетались с возобновлением выпадов против Масарика и вообще первой Чехословацкой республики, которая объявлялась «вассалом мирового еврейства». Брабец цитирует, к примеру, выпускавшийся чешскими антисемитами из Южной Чехии «Календарь на 1943 год», который был снабжен лозунгом: «С Вождем Адольфом Гитлером против евреев, большевиков и провокаторов – к окончательной победе» (s. 167) и где снова повторялись басни о ритуальных убийствах, басни, с которыми в свое время энергично полемизировал Масарик. Литературные поделки чешских антисемитов в абсолютном большинстве отличались

отсутствием какой бы то ни было художественности, не имели популярности среди читателей. Как пишет Брабец: «Моральные и профессиональные качества антисемитов находились на столь низком уровне, что их ненависть часто оборачивалась жестоко-безобразным комизмом» (s. 190). В своей массе это были третьеразрядные авторы, имена которых заслуженно канули в небытие. Однако в статье говорится и о редком исключении – о публикации в 1941 г. книги воспоминаний, заметок, размышлений талантливой католического поэта Якуба Демла (1878–1961) «Следы», где содержатся грубые антисемитские высказывания, а ритуальное убийство называется «доказанным фактом». Антисемитская пресса тех лет неоднократно приводила фразу Демла, позаимствованную им из антисемитских памфлетов: «Если кто-то вам скажет, что еврей тоже человек, сразу выбейте ему четыре зуба» (s. 188). Так что осуждение Демла после окончания Второй мировой войны не было совсем несправедливым, хотя сам он – уже старый человек – не был коллаборационистом, даже подвергался притеснениям со стороны оккупационных властей, однако публикация в то время такого текста прямо играла на руку самым темным силам. Правда, впоследствии Демл был оправдан, чему поспособствовал и любивший его поэзию Витезслав Незвал, но публикация 1941 г. остается темным пятном на его биографии.

Брабец подчеркивает: «Чешская антисемитская литература опиралась на иностранные, прежде всего немецкие и французские образцы» (s. 174), говорит и о влиянии антисемитских выступлений в России, но не считает нужным замалчивать подобные проявления в отечественной литературе.

Специальный интерес представляют работы Брабца о послевоенной чешской литературе. В открывающей рецензируемую книгу статье «Историк литературы в историческом процессе», посвященной Ф. Водичке, он пишет: «Водичка осознавал парадоксальность положения историографа, который одновременно является и актером живой истории. Он никогда не стоял в стороне от литературного процесса, его труды всегда латентно или непосредственно вступали в актуальные споры» (s. 5). То же самое можно сказать и о самом авторе этих слов. Брабец был и остается «актером живой истории» чешской литературы, легко вступает в «актуальные споры». Другое дело, что ему

присущи полемические переხлесты и далеко не всегда с ним можно согласиться.

Творческий путь первого (и единственного) чешского лауреата Нобелевской премии прослеживается в статье «Лирик Ярослав Сейферт. Метаморфозы поэта и его постоянство»: «“Высокое” и “низкое”, профанное и сакральное у него не разделено. В его поэзии не исчезает юмористическое преувеличение, тонкая ирония, так же как и чувственное очарование, мечтательность, вера в силу воображения» (s. 238). Брабец посвящает статьи Карелу Тейге, Вацлаву Черны, Завишу Каландре, Индржиху Штырскому. Он высоко оценивает творчество одного из ведущих поэтов давнего журнала «Květen», а в годы «нормализации» – диссидента Карела Шиктанца: «Он как бы завершает одну великую эпоху чешской поэзии» (s. 279) и «Карел Шиктанц создал совершенно своеобразный тип поэзии, которая непосредственно продолжает традицию поэзии чешского модернизма, но в то же время радикально ее изменяет, превращая в поиск ее “миссии” в новом духовном контексте» (s. 289). Можно в чем-то поспорить с автором, но интересно уже то, что на всех его статьях о послевоенной литературе в той или иной степени отражается его собственная эволюция как гражданина и как литературного критика.

Особое место в книге занимают высказывания Брабца по общей концепции послевоенной чешской литературы и современной литературной теории. В статье «Эстетическая норма и история литературы в тоталитарной системе» на материале литературы социалистического периода он размышляет о проблематике «эстетической нормы», очень важной для пражского литературного структурализма, прежде всего работ Яна Мукаржовского, но также и Романа Якобсона. Автор утверждает, что «литература пишет свою собственную глубоко структурированную историю и ни в коей мере не служит иллюстрацией истории изменений системы» (s. 148). Однако далее он рассказывает о том, как под давлением тоталитарной системы и авторитарной критики менялся облик чешской литературы, но ведь тем самым в ней история этой системы отражалась и, следовательно, история литературы до известной степени отражала историю изменения системы тоталитаризма, хотя очень существенно то, что литература боролась против властного давления: «Каждое произведение (добавим: каждое произведение, заслуживающее этого име-

ни. – С.Ш.) само по себе есть норма и эта устремленность в сторону уникальности находится в принципиальном противоречии с основными тенденциями, присущими тоталитарным системам» (s. 153).

Серьезные претензии Брабец высказывает по отношению к современному, уже посленоябрьскому состоянию гуманитарной науки в Чехии и к самой этой науке, литературоведению в частности. По его мнению, «[...] научная работа механизировалась, превратилась в производство, рутину, в ремесло, сводящееся к освоению определенных навыков и приемов. Политическая система, которая демонстративно игнорирует всю область гуманитарных наук, и структура научных институтов, которые сосредотачиваются только на количественных показателях, лишь усугубляют эту опасность» (s. 13). Он не доволен уровнем современной науки о литературе, «ностальгически» вспоминает о Пражском лингвистическом кружке, о концепции Масарика, Шальды и других мыслителей прошлого. Его не устраивает традиционный «кропотливый труд на вавилонской башне познания и знания» (s. 13), он выступает за новые герменевтические подходы, за «перенос внимания на наблюдающего субъекта и его поиск смыслов» (s. 14). Ссылаясь на высказывание Г. Гадамера, что «объективизм – это иллюзия», он называет стремление реконструировать историю литературы «абсурдным»: «Мы имеем множество произведений, из которых должны создать конструкт, ценность которого будет определяться нашим пониманием сети взаимоотношений, а также силой наших интерпретаторских и комбинаторских подходов» (s. 162). С этих позиций Брабец очень резко обрушивается на недавно изданный фундаментальный труд Института чешской литературы АН ЧР «История чешской литературы 1945–1989» (в четырех томах, 2007–2008; главный редактор Павел Яноушек).

Собственно, критиковать этот труд Брабец начал еще на конференциях, предшествовавших его выходу из печати. Ознакомившись с первым изданным томом «Истории», он увидел здесь «кризис научного мышления» и так озаглавил небольшую статью, первоначально опубликованную в журнале «A2» и включенную в рецензируемую книгу с добавлением к этому на-

званию вопросительного знака. Я оставляю в стороне присутствующие в статье эмоциональные перефразы с «переходом на личности», не стоит ни разбираться в этом, ни об этом писать. Что же касается существа дела, то с Брамцем надо согласиться по поводу указанных им отдельных фактических неточностей и структурных неудач в объемной «Истории», но в целом, по моему мнению, он просто не справедлив в своей оценке многолетнего коллективного труда когда-то своего родного Института. Замечу только, что без отвергаемых критиком попыток «реконструкции» литературного процесса, неизбежно несущих на себе отпечаток субъекта исследователя, написать историю литературы вообще невозможно. Разумеется, историк литературы при помощи определенных методов *конструирует* свой текст, свою концепцию развития литературы, но это отнюдь не исключает задачу *реконструкции*, стремления воссоздать как можно более адекватно историческую картину. Статьи, задача реконструкции при написании истории литературы была близка почитаемому Брамцем Водичке, а составленный в годы «нормализации», в том числе и Брамцем, «Словарь чешских писателей», изданный в 1982 г. в Торонто, имел подзаголовок «опыт реконструкции» и только уже при переиздании в Праге после «бархатной» революции стал называться «Словарь запрещенных писателей». Надо надеяться, что начавшаяся дискуссия об «Истории чешской литературы 1945–1989» будет продолжена и что автор книги «Господство идеологии и власть литературы» еще выскажется по этой проблематике более развернуто и взвешенно.

Подводя итог, можно сказать, что книга Брамца – опытного историка литературы и непосредственного участника послевоенного литературного процесса в роли критика, представляет большой интерес как в плане освещения некоторых недостаточно изученных (антисемитизм в чешской литературе, Завиш Калаандра) и спорных (сравнительная оценка Добровского и Юнгмана, взгляды Масарика на литературу и др.) вопросов чешской литературной истории, так и в плане знакомства с современной чешской литературной и научной жизнью.

© 2011 г. С.А. Шерлашмова



МОДЕРНИЗАЦИЯ VS. ВОЙНА: ЧЕЛОВЕК НА БАЛКАНАХ НАКАНУНЕ И ВО ВРЕМЯ БАЛКАНСКИХ ВОЙН 1912–1913 гг.

Так называлась международная научная конференция, прошедшая 26–27 апреля 2011 г. в Отделе истории славянских народов периода мировых войн Института славяноведения РАН. Она организована в рамках Программы фундаментальных исследований секции истории ОИФН РАН и темы «Исторический опыт социальных трансформаций и конфликтов», заданных ОИФН РАН.

Тема конференции привлекла внимание специалистов не только двух исторических и филологического Отделов Института, но также Института всеобщей истории и Института антропологии и этнологии РАН, МГУ, МГИМО(у) МИД РФ, Нижегородского госуниверситета, представителей научных учреждений Сербии и Румынии. Всего на конференции выступили 17 человек.

За 100 лет, прошедших со времени Балканских войн, произошло столько событий в мире и в Юго-Восточной Европе, в науке сменилось столько школ и появилось столько новых ее отраслей, новых идей и подходов, что организаторам конференции и ее участникам было интересно с обновленным инструментарием вновь обратиться к военному конфликту на Балканах, как бы открывшему XX век. И надежды не оказались обманутыми.

Прежде всего, скажем о некоторых новых подходах.

Характерно само название конференции: модернизация против войны. Принято считать, что, несмотря на разрушения и человеческие потери, которые несут с собой войны, они способствуют (и едва не в первую очередь) научно-техническому прогрессу, в частности, из-за необходимости постоянно заботиться об обновлении вооружения, создания его новых видов, совершенствования средств связи, стратегического и тактического умения военных. Ко всем ли войнам это относится? Мировые войны дают мировые результаты, на них работают ученые, инженеры, фантасты. А региональные?

Балканские страны в начале XX в. сами оружия не производили. Они его закупали в России, Германии, Италии. Россия к тому же оказывала помощь поставками оборудования (шинелей), интендантского оборудования. Конечно, овладение этим оружием солдатами балканских армий было уже прогрессом, хотя и он не всегда был очевиден. В докладе на конференции *В.Б. Хлебникова* (МГУ) привела такой пример: обучавшаяся русскими офицерами армия Черногории начала свое участие в Балканской войне как регулярное войско, а не ополчение (впервые в своей истории), но вскоре оно разбилось на «племена и кланы»; вести современную войну Черногория оказалась не в состоянии.

Если Балканские войны и сыграли определенную роль в развитии военного искусства, то к вопросам индустриализации и других систем модернизации, так недостающей на полуострове, это вряд ли относится. Для того, чтобы служить базой взрыва научной мысли и технического прогресса в регионе не было оснований и условий, и войны 1912–1913 гг. мало что могли прибавить к этому. Таким образом тема проблематичности связи между войной и модернизацией в слаборазвитых странах напрашивается сама собой.

Процессу модернизации на Балканах – общим и частным – как символу развития балканских стран в XIX–XX вв., на конференции было уделено большое внимание. Это в

полной мере относится к выступлению *В.И. Косика* (ИСл РАН), имевшему философско-политологическое наполнение и образное оформление. Интригуяще назвав его «Крыло бабочки», Косик объяснил, что имеет в виду контуры территории и Сербии, и Болгарии, являвшихся основными соперниками в Балканских войнах; страны со славянским населением, они не сумели объединиться и стать могущественным полноценным организмом. Философия докладчика опирается на «великий смысл славянской идеи», и для него сокрушительно, что славянский мир, на который возлагалось столько надежд и который казался столь перспективным, не стал реальностью. Косик приходит к выводу, что Славянский вопрос, значительно более широкий, чем политизированный Восточный вопрос, не имеет решения. Сербо-болгарские войны XIX–XX вв. закрепили в сознании народов взаимный образ неприятеля, национальное чувство стало сильнее чувства славянский солидарности, а во время Балканских войн, особенно во второй, сильнейшим образом проявил себя эмоциональный фактор. Потуги славянского мира к гармонизации отношений, продолжил он, «были безнадежно испорчены самими славянами. Грубо говоря, их испортил квартирный вопрос».

Размышляя о современном мире, Косик констатирует, что «в наше время происходит подмена многих сущностных явлений, в том числе в сфере самосознания – растворение национального в общечеловеческом»; обнаруживается тенденция превращения славянина в европейца, здесь и промывка мозгов со стиранием в памяти всего отрицательного в прошлом, подмена истории этнографией. Применительно к Балканам, стремящимся в Европу, приспособление истории к потребностям современности (целевое использование этого инструмента Косик называет *исторической политикой*), может означать только конец национальной истории. Однако лучик оптимизма он все-таки сохраняет: «Но остается иррациональность бытия со всеми его неожиданностями», – заканчивает он свой доклад. Таков по смыслу сказанный итог всей и всякой модернизации.

Непосредственная связь с одним из тезисов Косика прослеживается в интересном и довольно неожиданным по содержанию докладе «“Невраждебная история” Балканских войн: опыт европейского историописания» *А.А. Улуяна* (ИВИ РАН). Он рассказал, что в 1998 г. в Голландии был создан Центр демократии и примирения в Юго-Восточной Европе. Одно из направлений его деятельности – создание «Совместного исторического проекта», первым председателем которого была живущая на Западе проф. Мария Тодорова, дочь известного болгарского историка и общественного деятеля, академика БАН Николая Тодорова. Задача проекта – попытаться «примирить историю», т.е. при сохранении ее фактической части отбросить психологию и эмоциональное отношение к событиям, решениям, международным договорам, которые определяли судьбу народов и государств, «назначали» победителей и побежденных.

Возможно, такой подход действительно в наибольшей мере обеспечивает объективность историка. Но не будем ли мы тогда иметь дело со справочником, «телефонной книгой» вместо исторического исследования?

В осуществлении проекта принимали участие историки, учителя, педагоги, аспиранты и студенты – все те, кто имеет непосредственную связь с «потребителями» исторического знания, преподаваемого, очевидно, в заданном «правильном» направлении. Были созданы и опубликованы четыре «рабочие тетради». В каждой из них подробно разработан определенный вопрос, например, тетрадь № 3 содержит проблемы: Османская империя (в аспекте параллельности развития турок с другими народами); создание национальных государств на Балканах; Балканские войны 1912–1913 гг.; Вторая мировая война. В совместный коллектив входили представители стран Юго-Восточной Европы.

«Это опыт создания альтернативной истории, – говорит Улуян, – основанный на нетрадиционном подходе, который рожден нынешним временем». Да, скажем от себя, но не на Балканах он рожден, а в благополучной Европе, хотя и с учетом новых явлений на Балканах, в том числе выражавшихся в стремлении «вернуться в Европу», которое возникло в юго-восточной ее части после развала социалистического лагеря. «Совместный исторический проект» имеет, как представляется, прямое отношение к одному из принципов Объединенной Европы – снизить накал враждебности между народами, снять территориальные проблемы. Европа хотела принять под свое покровительство стабильную территорию, население которой прекратило внутреннюю грызню и озлобленность. Для этого пришлось прибегнуть и к «исторической политике», о которой говорил Косик.

Применительно к Балканским войнам 1912–1913 гг. в проекте «ненасильственной», «невраждебной» истории не упоминается о Сан-Стефано, о целях, которые преследовали правительства Сербии, Болгарии, Греции, Черногории в войне, но сосредоточивается внимание на том, чего ожидали от нее простые люди на фронте и в тылу. В такой истории предлагается не оценивать результаты войн, исходя из новых полученных границ, не говорить о победителях и побежденных, а акцент делать на страданиях и мучениях солдат, населения вообще, беженцев, перемещенных лиц и т.п.

Свое отношение к проекту Улуныя не выражает, просто говорит о нем, как о попытке создания альтернативной истории. Правильнее, пожалуй, не истории, которая уже состоялась, и исправить ее нельзя, а о создании новой, служебной историографии. Кому она будет служить? Может быть, и вправду она поможет затянуться болгаро-сербским ранам, как это случилось с Францией и Германией? Улуныя признает, что, судя по откликам в прессе, мнения заинтересовавшихся людей разделились примерно поровну. У профессиональных историков не приходилось встречать серьезной критики или оценки предложенного подхода.

Несколько докладов на конференции были посвящены проблеме соотношения историографии и фактической истории. А.Л. Шемякин (ИСл РАН), Ф. Соломон (филиал Института национальной истории, Яссы), М.В. Белов (Нижегородский госуниверситет) каждый на своем материале показали, как историография нередко осовременивает историю, таким образом, искажая ее, либо искажение производится из идейно-политических соображений.

А.Л. Шемякин обратил внимание на трактовку сербскими национальными историками вопроса о «необычайной популярности войны» в Сербии. Действительно восторженное восприятие населением известия об объявлении войны Турции и начале мобилизации в 1912 г. М. Экмечич, М. Радоевич и др. склонны объяснять «необыкновенным подъемом и жертвенностью сербов», вызванных Первой балканской войной, тем, что в предшествующие годы в стране будто бы «произошел переход элитарного национализма в массовый». Эту оценку Шемякин считает спорной. По его мнению, эмоциональный взрыв проистекал из героических стереотипов сознания сербов того времени, культивирования идеала «человека вечной войны». И некорректно для характеристики этого явления прибегать к категориям современного общества, к которым относится такая квалификация, как «массовый национализм». Просто такого рода поведение населения, считает Шемякин, свойственно культурам пограничья, прежде всего, межконфессионального, ориентированного на защиту своего этноса и культуры, рождающего «драматизм мученичества», когда отдельная личность приносится в жертву всему коллективу.

К вопросам соотношения идеологии и историографии обращается также *Ф. Соломон*. В докладе «Румынские социалисты и проблемы войны и мира на Балканах. 1910–1916 гг.» он указывает, что в современной румынской историографии румынской Социал-демократической партии (СДП) и ее позиции по национальному вопросу в начале XX в. не уделено достаточного внимания. Между тем, благодаря таким лидерам СДП как К. Доброджану-Геря и Кр. Раковский и некоторым другим эта партия оказывала влияние на состояние идеологии в стране. Оба лидера были сторонниками объединения территорий с румынским населением в одно государство, однако, подчеркивал Доброджану-Геря, всякое национальное объединение должно быть плодом естественного сближения этнически однородных групп, а не войн. Позиция Кр. Раковского не была столь кристальной, и именно Балканские войны стали тем рубежом, который определил его переход на классовые позиции в национальном вопросе. Во время Балканских войн и Мировой войны румынская СДП выступала за нейтралитет страны.

Соломон указал также на такую важную составляющую идеологии румынской СДП, как устройство мира на Балканах, исходя из принципа демократических договоренностей между странами. Разрабатывалась идея Балканской федерации или конфедерации.

Доклад *М.В. Белова* «Актуальность героического прошлого: история и политика в предвоенной Сербии» посвящен тому, как политика и идеология «формируют» историю, точнее, – представление о ней. Причем в начале XX в. речь шла не о осовременивании истории, а, наоборот, об обращении ее в прошлое. Мобилизационные усилия Сербии, считает Белов, были ориентированы на сербский реванш, т.е. на территориальное расширение во имя объединения «всего сербского рода». Белов отмечает, что идеологическая база этих политических стремлений носила мемориальный характер, она складывалась на протяжении

нии всего XIX в. и состояла из двух компонентов: косовской легенды и образа восстаний 1804–1815 гг. В идеологической сфере создавались своеобразные подходы к восстановлению средневекового царства. Героизации прошлого служило также празднование в 1904 г. 100-летнего юбилея Первого сербского восстания. Хотя по ряду обстоятельств оно не получило задуманного правительством масштаба, но сопровождалось учреждением ордена Звезды Карагеоргиевича и эмиссией памятных монет, что Белов характеризует как «увекочивание мемориально-символических практик».

Обращаясь далее к сербской исторической науке начала XX в., докладчик подчеркнул, что в представлениях о повстанческой эпохе она приблизилась в своих вершинных достижениях (С. Новакович, М. Вукичевич, М. Гаврилович) к стандартам европейского позитивизма, однако сохранила, а в ряде случаев даже усилила государственный фетишизм в толковании эпохи «национального возрождения».

Хотя профессиональные национальные историки в балканских странах и несколько снизили «националистический накал» в последние годы, они не забывают напоминать о победителях и побежденных в Балканских войнах, о несправедливых договорах и т.п. Даже в случаях, когда благодаря кропотливому труду и стремлению докопаться до правды авторам удается достичь той или иной степени объективности, выявить причины неудач своей страны, ошибки командования или политиков, они не в состоянии отказаться от несправедливых эмоций в сторону того или иного противника, либо нередко России. Так, внимание *Р.П. Гришиной* привлекла статья болгарского историка Николая Стоименова «Своенравная Болгария через призму имперских интересов» в недавно вышедшем юбилейном сборнике «Болгария и Россия между признательностью и прагматизмом» (София, 2008). Большой знаток архивных материалов, Стоименов со знанием дела пишет, что все балканские государства еще до заключения Балканского союза «проявили завоевательные инстинкты», указывает на череду ошибок, совершенных болгарским правительством, царем Фердинандом и проч. в ходе Балканских войн, в том числе, не скрывает, что Болгария «вообще отказывалась идти на какие-либо компромиссы» и даже обращалась к Петербургу в «излишне императивном тоне». Однако, не сводя эти ошибки к причинам тяжелейшего поражения Болгарии в войне, Стоименов ищет их во вне: Россия, заявляет он, была едва ли не противником его страны в войне, к тому же желающим «постепенно завести Болгарию в тупик и сознательно лишить ее какой бы то ни было разумной альтернативы»; она же, предпочтя Румынию Болгарии, фактически преждевременно предрешила исход Межсоюзнической войны.

«Своим вызывающим поведением, – заканчивает статью Стоименов, – Болгария выставила напоказ Европе неспособность и беспомощность царской дипломатии справиться со сложным узлом балканских противоречий. Одновременно блеснула “своей неосуществимой утопичностью” вся политика Сазонова на Балканах». А «виновница славянского, т.е. русского, провала на Балканах – Болгария», – торжествующе говорит он.

Печаль и удивление вызывает подобное любование историка поведением Болгарии в действительно судьбоносной для нее войне, которое он сам же называет некорректным. В болгарской историографии, кажется, уже прижился термин «своенравная Болгария», «непослушная Болгария», как будто речь идет не о суверенном государстве, выступавшем на международной арене, а о невинных капризах подростка в узком домашнем кругу. Нет слов, имперская дипломатия проявила себя не лучшим образом в балканских делах начала XX в., это известно и об этом многое написано в современной российской историографии. Злобные же гримасы отдельных непримиримых авторов негативно характеризуют в первую очередь их самих.

О роли России в Балканских войнах говорила в своем выступлении *В.Б. Хлебникова* «Проблема Скутари в 1913 г.: проверка российско-черногорского военного союза на прочность». Россия заключила этот союз в 1910 г., выдвинув Черногории жесткие условия с целью ограничить беспорядочные действия ее отрядов на турецкой границе, но своей цели – дисциплинировать буйных балканцев – не добилась. Хлебникова привела многочисленные факты нарушения черногорским правительством, взятых на себя обязательств, и в предвоенный период, и в ходе Балканских войн.

Небрежение обязательствами не исключительное явление. Для всех балканских государств была характерна низкая союзоспособность, выражавшаяся в недоверии друг к другу, действиях за спиной союзников и срывах союзных договоренностей (в апреле 1913 г. Сербия и Греция заключили соглашение, направленное против Болгарии, – их партнера

по Балканскому союзу; в июне того же года в нарушение общего союзного договора армия Болгарии начала наступление на сербские и греческие позиции), а в отношении «покровительницы» и спонсора России нередко явно некорректное поведение.

Среди последних примеров – приведенные Хлебниковой: давление на императора со стороны черногорского короля Николы, потребовавшего в декабре 1912 г., чтобы русская дипломатия добилась передачи Скутари Черногории. С этой целью использовались и родственницы Николая II – черногорские княгини, действовавшие при петербургском дворе, и угрозы их отца короля Николы, заявлявшего, что в противном случае он «двинется на Австрию».

Почему Россия часто бывала обманутой в своих ожиданиях на Балканах, почему позволяла манипулировать собой? Строя собственные планы, противоречившие рекомендациям России (сохранять положение status quo, не открывать войны), добиваясь решения того или иного территориального вопроса в свою пользу, «балканские подопечные» исходили из ходячего на Балканах представления: что бы мы ни натворили, Россия все урегулирует. Хлебникова приводит характерное высказывание короля Николы: Россия «нас никогда не оставит и в конце концов вынуждена будет действовать даже с нами заодно».

Тема использования королем Николой родственных связей своих дочерей Анастасии и Милицы с российским императором поднимается и в докладе *Н.Г. Струниной* (ИСл РАН). В описании деятельности великой княгини Милицы в годы Балканских войн Струнина опирается на большой документальный материал, в том числе извлеченный из архивохранилищ Черногории, рассказывает об организации ею на родине благотворительной и медицинской помощи раненым. Однако для профессионального подхода к теме молодому исследователю квалификации пока не хватило. Большую часть доклада Струнина посвятила изложению фактов биографий черногорцев, их личной жизни, избегая анализа и оценок. Деятельность «черногорских родственниц» – общественная и при петербургском дворе – вопросы не простые, их разработка требует от автора умения отделить семейное от общественного и государственного, критического подхода к «невероятному патриотизму» черногорцев (видимо, по степени накала), а не умиления им.

Г.И. Шевцова (МГУ) посвятила свой доклад деятельности С.-Петербургского Славянского благотворительного общества по оказанию помощи Сербии во время Балканских войн. Анализ богатого архивного материала привел ее к выводу, что Общество организовывало помощь не только больным и раненым участникам войны, но также беженцам, сиротам. На Балканы отправляли белье, перевязочные средства, продукты. Особая забота – о двух русских приютах для сирот, которые полностью содержались на средства России. Также в распоряжение Сербского общества Красного Креста направлялись врачи, формировался санитарный отряд.

Еще один поворот темы на конференции – внимание к вопросу об усилении национально-освободительной борьбы на полуострове в начале XX в., об идеологическом влиянии Балканских войн на соседние народы.

Г.Я. Ильина (ИСл РАН) посвятила доклад роли хорватской гуманитарной интеллигенции в изменении общественной атмосферы в первое десятилетие XX в. и в годы Балканских войн. Главным она считает оживление националистических и югославянских идей в хорватских землях Австро-Венгрии, интерес к целям этих войн – независимое существование славянских государств. По мнению Ильиной, начало века отмечено формированием современного самосознания, гражданского отношения к событиям внутренней и внешней жизни, пропагандой идей славянской взаимности, единства сербов и хорватов. Это время романтического подъема, объединения молодежи в различные кружки и объединения (художественно-политические) в надежде добиться национальной самостоятельности, поддержать антиавстрийские устремления сербов. Говоря о творчестве известного хорватского писателя Мирослава Крлежи, Ильина приводит его слова о том, что военные события на Балканах в 1912–1913 гг., а затем и Мировая война сформировали его как личность, когда он увидел наяву, как сербы до крови дерутся за свободу.

К этой рубрике можно отнести также доклад *Ю.В. Лобачевой* (ИСл РАН) «Влияние Балканских войн на развитие общественного движения югославян в Америке». Она рассматривает идейные связи югославянских эмигрантов с родиной, отмечая, что они были постоянными и активизировались при волнениях в Хорватии в 1903 г., а аннексия Боснии и Герцеговины в 1908 г. стала поводом для первой значительной политической акции сербов в США. В Америке с началом Балканских войн несколько тысяч сербов и дру-

гих югославян отправились из США в Сербию и Черногорию. Лобачева проследила, как и какую помощь оказывали эмигранты сражающимся соотечественникам, рассмотрела деятельность Сербского народного комитета по сбору добровольных пожертвований для Сербского Красного Креста в Белграде и Черногорского в Цетинье. Новым и интересным является представленный ею материал о деятельности группы интеллигентов среди американских сербов, которые сумели организовать благотворительное и общественное движение в поддержку сербов. В нем участвовали и другие славянские этнические группы, привлекалась и часть американской научной интеллигенции.

Любопытен вывод Лобачевой: если в начале Балканской войны американское общество было преимущественно на стороне Турции, то затем, благодаря пропагандистской активности эмигрантских общественных организаций, оно склонилось с некоторыми симпатиями на сторону Сербии и Черногории. Важен и другой ее тезис: успехи Сербии и Черногории в изгнании турок с югославянской территории подняли «освободительное настроение» у хорватов; в Южной Америке часть хорватских переселенцев, разделявших идеи славянской взаимности, стала поддерживать мысль об объединении Далмации с остальными частями Хорватии. Балканские войны, считает Лобачева, как бы обозначили перелом в развитии освободительного движения – хорваты стали переходить от хорватской программы к югославянским идеям, а в последующем ставили цель государственного объединения югославян.

Участники конференции не обошли вниманием вопрос о том, как восприняли войны 1912–1913 г. балканские этносы, исповедовавшие ислам. *П.А. Искендеров* (ИСЛ РАН) в докладе «Албанское измерение Балканских войн», заявив, что Косово – это колыбель национальной государственности двух народов, заметил далее, что часть косовско-албанского этноса имеет сербские и православные корни. Докладчик показал всю сложность внутривалканской ситуации накануне и в ходе Балканских войн. Роль албанского фактора в этих войнах, считает он, – не столько военная, сколько политическая: Австро-Венгрия и Италия стремились использовать его для ослабления позиций Сербии и других балканских государств, а также России. Использовать албанское национальное движение, фактически партизанское, стремились, в свою очередь, и Сербия, и Болгария в борьбе друг с другом. В Первой балканской войне албанцы выступали на стороне Турции. Когда же их противниками были освобождены от османов обширные территории Старой Сербии, где жило смешанное сербо-албанское население, албанские лидеры стали требовать создания автономной и даже независимой Албании. Во Второй балканской войне «албанский фактор» особенно активизировался – Болгария, стремясь свести счеты с Сербией, попыталась сделать ставку на албанских лидеров: им за вооруженное выступление против Сербии были обещаны территориальные компенсации за счет сербских земель. Расчет был на то, что албанцы провозгласят автономию на территории Македонии, а потом Болгария аннексирует интересующие ее районы. Однако дело ограничилось разрозненными нападениями на сербские пограничные посты и т.п. Видимо, партизанские войны к большим завоевательным результатам привести не могут.

Внутренне на стороне Турции осталось и славянское население Горы – небольшого горного района между Македонией, Албанией и Сербией (Косово), исповедовавшее ислам. *Р.Н. Игнатьев* (ИАЭ РАН) в докладе «Балканские войны на “службе” этнографии» отнес Балканские войны к фактору, который привел в движение самосознание этого народа, обострил его. Горяне с уходом потерпевшей поражение Турции остались без османского покровительства. В новых условиях приходилось больше думать о самих себе, отстаивать собственные интересы, проявлять новые качества. С этой точки зрения их судьба очень интересна для исследователя.

Наконец, несколько слов о докладе *Я.В. Вишнякова* (МГИМО) «Балканские войны и “Черная рука”». Один из тезисов автора – проблема интеграции земель с несербским населением, вошедших в состав Сербии в итоге Балканских войн, усугубила внутривалканский кризис в стране. Между правящей Радикальной партией и офицерским корпусом началась борьба по вопросу о статусе новых территорий, способе управления ими, создании новых административных учреждений. В конце 1913 г. правительство разработало для освобожденных краев «Положение об общественной безопасности», усилившее дискриминацию населения на полиэтничных территориях.

Второй важный тезис докладчика – окрыленные военной победой сербские офицеры, многие из которых входили в организацию «Объединение или смерть» («Черная рука»),

стали планировать «собрание еще не освобожденных земель». Например, присоединение к Сербии славянских земель, находившихся под властью Австро-Венгрии. Но кто будет играть решающую роль в этом деле и вообще в политике страны? «Спор о приоритете» в новоприсоединенных территориях (гражданские или военные власти) окончился победой сербского правительства и Радикальной партии, по позициям «Черной руки» был нанесен существенный удар. Окончательно точку в споре поставил знаменитый Салоникский процесс 1917 г., приведший к ликвидации террористической организации.

Завершу обзор содержания конференции упоминанием о выступлении *А.В. Ганина* (ИСл РАН), сообщившим, что одним из первых исследователей событий Первой балканской войны был полковник российского Генерального штаба И.Г. Пехливанов, болгарин по происхождению. Вводя в научный оборот прежде неизвестные документы из российских федеральных архивов, Ганин проследил жизненный и служебный путь Пехливанова, отметив, что в годы Первой мировой войны он проявил себя настоящим героем.

На конференции был показан 10-минутный фильм о военных действиях на Балканах – архивные кадры документальной кинохроники, добытые стараниями В.Б. Хлебниковой.

© 2011 г. *Р.П. Гришина*

Славяноведение, № 6

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «БОЛГАРИЯ И РОССИЯ (XVIII–XX вв.): ВЗАИМОПОЗНАНИЕ»

Книга «Болгария и Россия (XVIII–XX вв.): взаимопознание» – результат исследований большого коллектива болгарских и русских ученых Института литературы БАН и Института славяноведения РАН, а также ряда университетов и других научных и учебных институтов наших стран. Подготовленная в рамках проекта «Болгария и Россия XVIII–XX вв. – представления и реальность» двустороннего научного сотрудничества между РАН и БАН, эта книга была издана в Москве в августе 2010 г. Институтом славяноведения. Вдохнителем совместного труда был замечательный ученый Георгий Дмитриевич Гачев. Он и руководитель проекта с болгарской стороны проф. Румяна Дамянова выработали концепцию труда, определили состав его участников. Авторская работа над статьями была почти закончена, когда в марте 2008 г. жизнь Г.Д. Гачева трагически оборвалась. Редколлегией было принято решение посвятить этот труд его памяти. Редакционная подготовка книги к изданию велась под руководством доктора филологических наук, главного научного сотрудника Института славяноведения Г.К. Венедиктова.

Презентация книги состоялась в Русском культурно-информационном центре Софии 19 мая 2011 г. под председательством доцента, доктора филологических наук ученого секретаря Института литературы БАН Элки Трайковой. От имени руководства БАН авторов поздравил член-корр., проф. *Атанас Атанасов*, зам. председателя БАН по гуманитарным наукам. Он выразил свое глубокое сожаление в связи с гибелью Г.Д. Гачева и подчеркнул научную ценность его публикаций в сборнике. «Пути взаимопознания многочисленны, – сказал он. – Это происходит в самых разных областях жизни. Одной из этих областей является культура и в частности литература. А она неисчерпаема для исследований, которые ведут к расширению и углублению процесса болгарско-русских культурных и литературных взаимоотношений и связей». Представленный здесь труд, подчеркнул проф. Атанасов, получил высокую оценку руководства БАН.

О задачах, перспективах и убедительных результатах по мере продвижения проекта подробно рассказала проф. *Румяна Дамянова*. Она особо подчеркнула полезность и креативность исследований в рамках проекта с позиций современного литературоведения в

сочетании традиционных и новых интерпретаций, подкрепленных богатой фактологией, которая стала теперь доступной в болгарских и российских книгохранилищах, когда уже можно получить ответы на некогда замалчиваемые, а иногда и просто не ставившиеся вопросы.

На презентации было зачитано и присланное из Москвы письмо *Г.К. Венедиктова*, в котором он наряду с другими важными аспектами труда, особо выделил отражение в статьях необходимого для современного развития гуманитарных наук переосмысления ряда сторон в традиционном литературоведении с его стереотипами в освещении некоторых культурных контактов, а также назревшего расширения источниковедческой базы исследований. «Представленный труд, – утверждает *Г.К. Венедиктов*, – свидетельствует о том, что интерес ученых наших стран к истории русско-болгарских литературных и культурных связей не угасает. Более того, в настоящее время в условиях более широкой доступности источников, включительно и архивных материалов, и в отсутствии идеологических, цензурных и других ограничений, исследование ряда аспектов истории этих связей особенно актуализируется».

Научный формат книги (вступительные тексты ответственных редакторов: *Г.Д. Гачева* «О многогласии в науке (вместо предисловия)» и *Румяны Дамяновой* «Болгария и Россия: взаимопознание (некоторые размышления)» и три раздела – 1. Представления друг о друге у болгар и русских; 2. Литературные встречи и пересечения; 3. Памяти *Георгия Дмитриевича Гачева*) и развернутый анализ включенных в нее статей были представлены в докладе проф. *Кирилла Топалова*, который отметил, что благодаря демократическим переменам в наших странах, произошедшим в последние годы, в русско-болгарских литературных и культурных взаимоотношениях наступает «момент истины». Докладчик познакомил присутствовавших на презентации с членами редколлегии (*Г.К. Венедиктов*, *И.И. Калиганов*, *Л. Минкова*, *Н.Н. Пономарева*, *Н. Пытова*, *Р. Русев*, *М.Г. Смольянинова*) и рецензентами (*В.И. Косик*, *Р. Илчева*, *Э. Трайкова*) и дал высокую научную оценку труду в целом. Вместе с тем он выделил и ряд наиболее интересных, с его точки зрения, исследований и прежде всего статьи *Г.Д. Гачева* («О многогласии в науке» и «Образ болгарина у “западника” *Тургенева* и “славянофила” *Леонтьева*»), которого он назвал символом изменившегося взгляда на болгарскую литературу, автором концепции, которая, хотя и не всегда в целом приемлема, продвинула болгарскую научную мысль вперед. В этом ряду заняли достойное место и статьи русских авторов: *М.Г. Смольяниновой* («*Иван Вазов* и *Федор Достоевский* о русско-турецкой войне 1877–1878 гг.»), *Г.К. Венедиктова* («Первые болгарские возрожденческие книги в Москве»), *Н.Н. Пономаревой* («Комедии *Йордана Радичкова* и *Станислава Стратиева* в Советском Союзе»), *И.И. Калиганова* («Большевистская Россия в болгарской маргинальной литературе 20–40-х гг. XX в.»), *Н.В. Злыдневой* («*Гео Милев* в зеркале русского авангарда»), *В.Н. Федотовой* («Болгарская музыка и Россия»). Среди болгарских авторов докладчик выделил статьи *Яни Милчакова* – «Социология забытых литературных культов (*А.Н. Апухтин* и *М.П. Арцыбашев*)»; *Радостина Русева* – «Русская эмиграция в Болгарии 1918–1944 гг. (в контексте культурного диалога, межславянского культурного общения и славянской идеи)»; *Васила Балевского* – «Трагичная судьба деятелей славянской культуры (Размышления над книгой «Деятели славянской культуры в неволе и о неволе. XX век. Москва, Индрик, 2006)»; *Дианы Ивановой* – «Русские издания Библии и болгарская традиция перевода Библии в эпоху Возрождения»; *Лиляны Минковой* – «*Захарий Княжеский* и русско-болгарские связи второй половины XIX в.»; *Вани Добревой* – «Фигура чужепоклонника в болгарской возрожденческой комедии»; *Христо Манолакева* – «*П.Р. Славейков* и *М.Ю. Лермонтов* (о вероятном интертекстуальном диалоге в поэме “Источник белоногий”)»; *Ангелины Вачевой* – «О предполагаемом образце комедии *Добри Войникова* “Плохопонятая цивилизация” (“Бригадир” *Д.И. Фовизина*)»; *Цветана Ракёвского* – «Авангардное и поставангардное: “Сентябрь” и “Египетская марка”»; *Светланы Стойчевой* – «*Николай Рерих* и *Николай Райнов*»; *Магдалены Костовой-Панайотовой* – «Бунтарь или покорный грешник (*Агасфер Николая Минского*)».

Третий раздел книги создавался после гибели *Г.Д. Гачева* и посвящен его памяти. В этих статьях, сказал проф. *К. Топалов*, отражается не только сам образ замечательного ученого в восприятии болгарских интеллектуалов, но и подчеркивается его воздействие на болгарскую науку, литературу и, наконец, на болгарское видение сложных процессов, происходивших в XX в.

В выступлении проф. *Ивана Цветкова* еще раз прозвучало признание высокого научного уровня труда, а также предупреждение об опасности забвения традиционных болгарско-русских литературных контактов.

Член редколлегии с русской стороны *Н.Н. Пономарева* напомнила о тех серьезных трудностях, которые пришлось преодолевать в процессе создания книги, и выразила надежду, что ее появление послужит восстановлению и укреплению культурных связей между Россией и Болгарией. *Р. Русев* (член редколлегии с болгарской стороны) поведал о счастливой возможности познакомиться с ученым не только русского, но и европейского масштаба – Г.Д. Гачевым, а также, благодаря осуществлению болгарско-русского научного проекта, плодотворно работать в русских архивах и библиотеках.

В заключение доцент *Элка Трайкова* сердечно поздравила авторов книги и выразила уверенность в том, что она будет иметь большое значение для успешного продолжения болгарско-русских научных связей.

© 2011 г. *Н.Н. Пономарева, М.Г. Смольянинова*



К ЮБИЛЕЮ ИСКРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ЧУРКИНОЙ

24 ноября 2011 г. исполнилось 80 лет доктору исторических наук, ведущему научному сотруднику Института славяноведения РАН Искре Васильевне Чуркиной.

Сфера научных интересов И.В. Чуркиной охватывает, прежде всего, историю словенского народа, а также вопросы национальных движений на Балканах, русско-южнославянских связей, проблемы межконфессиональных отношений, истории культуры и идейных движений южнославянских народов. Искру Васильевну без преувеличения можно назвать ведущим в отечественной славистике специалистом по истории Словении.

Выпускница кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, ученица известного слависта, профессора С.А. Никитина (1901–1979), Искра Васильевна была зачислена в штат Института в 1958 г., и с тех пор уже более полувека успешно и плодотворно трудится на «научной ниве».

Она автор около 300 научных трудов, в том числе пяти монографий. Среди них: «Словенское национально-освободительное движение в XIX в. и Россия» (М., 1978; в 1980 г. защищена в качестве докторской диссертации), «Русские и словенцы. Научные связи конца XVIII в. – 1914 г.» (М., 1986), а также изданные в Словении на словенском языке – «Матия Маяр Зильский» (Любляна, 1974) и «Русско-словенские культурные связи» (Любляна, 1995). Пятую монографию – «Протоиерей Михаил Федорович Раевский и югославяне» – Искра Васильевна издала накануне своего юбилея. По охвату сюжетов, персоналий и идей эта книга – своеобразная славянская энциклопедия. Значителен вклад И.В. Чуркиной в подготовку коллективных трудов Института, начиная с «Истории Югославии» (М., 1963. Т. I) и заканчивая «Историей славянских культур» (М., 2005).

Особое место в ее творчестве занимают коллективные монографии, ответственным редактором и одним из основных авторов которых она являлась: «На путях к Югославии: за и против. Очерки истории национальных идеологий югославянских народов. Конец XVIII – начало XX в.» (М., 1997) и «Роль религии в формировании южнославянских наций» (М., 1999). В этих монографиях во многом по-новому поставлены некоторые узловые проблемы истории балканских народов в XIX – начале XX в. Третьим значительным коллективным трудом, вышедшим в юбилейном для Искры Васильевны 2011 г., является «История Словении» (написана в соавторстве с Л.А. Кирилиной и Н.С. Пилько). Искра Васильевна как бы подводит итоги своей научной работы в этой области. Концепция истории словенцев, выдвинутая ею, по ряду вопросов отличается от концепции некоторых современных словенских историков (например, профессора Люблянского университета П. Штриха). Но исследовательница весьма аргументированно отстаивает свои позиции на страницах данного труда.

Нельзя не сказать и о плодотворной публикаторской деятельности И. В. Чуркиной. Весомым научным достижением стало издание фундаментального труда «Русско-словенские отношения в документах (XII в. – 1914 г.)» (М., 2010). В этой публикации, первой по данной тематике в историографии, являющейся результатом многолетнего кропотливого труда российских историков, их словенских коллег и архивных работников, представлено 492 документа, в большинстве своем уникальных, выявленных в 11 российских и четырех словенских архивах. Вклад Искры Васильевны в эту работу был весьма существенный – она не только выявила большинство документов, но также определила концепцию публикации и написала вступительную статью «Этапы развития русско-словенских отношений» и значительную часть комментариев.

Больше полувека длится жизнь в науке Искры Васильевны Чуркиной. Она стояла у истоков российской исторической словенистики и все последующие десятилетия самоот-

верженно, увлеченно и методично трудилась по ее развитию – своими научными исследованиями и многолетними контактами со словенскими историками. Именно благодаря во многом ее деятельности российская словенистика за рубежом была признана как составляющая часть мировой. Об этом свидетельствуют отзывы о трудах Искры Васильевны, а также избрание ее действительным членом Словенского исторического общества, членом Общества словенских исследований (Канада), действительным членом Международной Славянской академии наук, образования, искусств и культуры и медаль ООН «Единение» – за «Деяния во благо народов». В разные годы она выступала с докладами на различных научных форумах – в Словении, Словакии, Сербии, Черногории, Хорватии, Польше, Австрии, Испании; публиковала статьи, кроме Словении, в Сербии, Словакии, Польше и Австрии.

Однако вышеперечисленным не исчерпывается вклад Искры Васильевны в науку. Она очень внимательно и с большим уважением относится к труду своих коллег-славистов. Не было случая, чтобы она отказала кому-либо в помощи – будь то рецензия на книгу, отзыв на диссертацию, оппонирование на защите.

Искра Васильевна – несомненно научный авторитет для всех словенистов и югославистов нашей страны. Все они – и историки, и литературоведы, и историки культуры, и лингвисты – хорошо знакомы с ее работами и не раз обращались к ней за консультациями по самым разным вопросам.

В начале 1970-х годов в отзыве о научных трудах И.В. Чуркиной ее научный руководитель профессор С.А. Никитин написал о ней следующее: «Много работающий специалист, уже достигший важных результатов». С тех пор минуло четыре десятилетия. И что же изменилось? Искра Васильевна по-прежнему очень много работает. О результатах ее научной деятельности «на благо словенцев и разных прочих славян» красноречиво свидетельствует внушительный список опубликованных ею трудов. Но главное заключается в том, что в наступившем XXI в. Искра Васильевна остается одним из талантливых продолжателей и верных хранителей лучших традиций, научных методов и принципов отечественного славяноведения. Им она следует сама и этому же учит молодежь – будущее российской исторической науки.

Мы любим и уважаем Искру Васильевну, восхищаемся ее научными достижениями, преданностью науке, мудростью и оптимизмом и желаем ей в год весьма солидного юбилея оставаться вместе с нами в «научном строю» и, конечно, здоровья, благополучия и новых творческих свершений.

© 2011 г. Друзья и коллеги

Дирекция и коллектив Института славяноведения РАН, редколлегия и редакция журнала «Славяноведение» присоединяются к поздравлению и желают Искре Васильевне здоровья и творческих успехов.

Славяноведение, № 6

К ЮБИЛЕЮ ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ ВИНОГРАДОВОЙ

Школьные и университетские годы Людмилы Николаевны прошли в Закарпатье (Мукачево и Ужгороде), т.е. в географическом центре славянского мира, в регионе с богатой и сложной историей, где переплетены языковые и культурные нити, тянущиеся во все концы Славии. И хотя в Ужгородском университете Людмила Николаевна изучала русскую филологию, вся атмосфера Закарпатья не могла не повлиять на выбор ею славистики в качестве своей профессии. Так она оказалась в середине 1960-х годов в Москве, в Институте славяноведения, в аспирантуре, где темой ее диссертации стали польские народные колядки (защищена в 1973 г.). В дальнейшем эта тема была расширена и продолжена в фундаментальном исследовании «Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. Генезис и типология колядования». Книга под этим названием вышла

в 1982 г. и стала крупным событием в славянской фольклористике и важным этапом становления культурологического направления в Институте славяноведения, где до прихода Людмилы Николаевны работали всего лишь два фольклориста – И.М. Шептунов, специалист по болгарскому фольклору, и Ю.И. Смирнов, занимавшийся славянской эпической традицией (прежде всего русской и болгарской).

Польские фольклористы не раз письменно и устно признавались, что книга Людмилы Николаевны открыла им их собственную народную традицию колядования, отличную от костельной, привлекла внимание не только к текстам народных колядок, но и к их этнографическому контексту, к ритуальным действиям колядников, к сопровождающим их приговорам и формулам, к терминологии обряда, в которых часто раскрывается основной смысл и обряда, и текстов колядок. Сопоставительный анализ огромного западно- и восточнославянского фольклорного и этнографического материала позволил Людмиле Николаевне создать типологию обрядовых форм колядования и колядных песен, выявить географию отдельных обрядовых и фольклорных элементов и, главное, реконструировать глубинную семантику обряда, его архаические мотивы, без которых невозможно полноценное восприятие содержания колядок. Из этой книги в дальнейшем выросли многие работы как самого автора, так и других исследователей традиционной славянской культуры. Множество наблюдений, формулировок и положений этой книги стали хрестоматийными и «всеобщими», а принятый в ней подход к вопросам генезиса фольклора, опирающийся на типологию и географию сравнительно поздних, но массовых фактов народной традиции, нашел свое развитие в словаре «Славянские древности», одним из основных авторов и редактором которого является Людмила Николаевна.

Главный вывод книги заключался в том, что колядование носит манистический характер и представляет собой ежегодную ритуальную инсценировку прихода духов умерших предков, а ходящие по домам ряженые колядники – это посланцы «с того света», на что указывают многие черты обряда (ночное время, старая изодранная одежда и обувь колядников, их физическая ущербность – горбатость, хромота, зачерненные лица, измененные голоса или молчаливость; предписания и запреты, связанные с колядованием, и т.д.). Такая трактовка рождественской обрядности закономерно приводит Людмилу Николаевну к проблематике, связанной с народной демонологией, с поверьями о духах и персонажах низшей мифологии, с магическими приемами защиты от демонов. Интересу к этой стороне народной культуры, безусловно, способствовали экспедиции в Полесье в 1970–1980-е годы прошлого века, проводившиеся под руководством акад. Н.И. Толстого. Людмила Николаевна была одним из самых активных участников этих экспедиций, ей принадлежит множество ценных записей на самые разные темы, хранящихся в Полесском архиве Института славяноведения и пользующихся неизменным спросом. В Полесье архаические мифологические представления были в то время еще вполне живыми, и знакомство с подлинной традицией не только обогащало исследователя новыми фактами, но и совершенствовало его научную «оптику».

Вопросам народной демонологии славян посвящены десятки статей Людмилы Николаевны (о русалках, ведьме, «ходячих» покойниках, черте, вселении духов в человека, сексуальных связях человека с нечистой силой, телесных аномалиях демонов и многие другие). Ее многолетние исследования в этой области обобщены в книге «Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян», изданной в 2000 г. и принесшей ей славу главного славянского «демолога». Книга сразу же стала библиографической редкостью и одной из самых цитируемых работ из области традиционной народной культуры славян. Для нее характерны те же методические «опоры», что и в первом цикле работ, – это типология, семантика, география, терминология. Однако объем исследуемых фактов здесь шире – это практически всегда материал всех славянских языков и культурных традиций с учетом европейской и азиатских параллелей.

Как известно, в нашей стране «суевериями», связанными с магией и нечистой силой, многие десятилетия не занимались вообще, зато в наше время эта область традиции расцвела пышным, но отнюдь не научным цветом. На этом фоне работы Людмилы Николаевны выделяются строго научным подходом к описанию и интерпретации мифологических представлений славян в широком контексте всей традиционной духовной культуры. Ей удалось убедительно показать, что демонологические верования – не просто органическая часть устной культуры, не просто ценные свидетельства архаического мировосприятия славян, но они вплетены во все сферы культуры – в представления о природе, в на-

родный календарь, в обряды и обычаи жизненного цикла, в хозяйственную деятельность, в народную медицину, в повседневную бытовую практику.

В последние годы Людмила Николаевна занимается (совместно с Е.Е. Левкиевской) систематизацией материалов Полесского архива по народной демонологии и подготовкой их к публикации. В 2010 г. издан первый из запланированных четырех томов серии «Народная демонология Полесья», посвященный людям со сверхъестественными свойствами – это ведьма, колдун, колдунья, знахарь, знахарка, «знающие» люди (музыканты, мельники, строители, пастухи и др.), волколак (человек, обращенный в волка). За ним последуют выпуски с материалами о мифологических персонажах, происходящих из душ умерших людей, о формах, приемах и результатах деятельности нечистой силы, о домашних и природных духах. Тексты снабжены обстоятельными комментариями, цель которых – дать представление о месте каждого персонажа в общей системе народных демонологических представлений.

Труды Людмилы Николаевны пользуются заслуженным признанием в нашей стране и за ее пределами. Их содержательность, насыщенность материалом, глубина, комплексный (фольклорно-этнографический и этнолингвистический) подход, строгий и тщательный анализ каждого факта делают их подлинными образцами современного научного гуманитарного исследования. На них учатся и будут учиться все, кто обращается и обратится в будущем к духовной культуре прошлого. Но не менее важны личные качества ученого, и в этом отношении Людмила Николаевна стоит на недосягаемой высоте. У всех, кому посчастливилось быть рядом с ней долгие годы, вызывает неизменное восхищение и уважение ее преданность науке, ее дар видеть не только главное, но и «интересное» в предмете своих занятий, ее увлеченность и творческая энергия, ее исключительное благородство в отношениях с людьми, чувство коллегиальности и верность дружбе.

Людмила Николаевна всячески уклоняется от своего юбилея, не хочет быть в центре внимания, избегает торжеств и поздравлений. В таком случае нам остается поздравить самих себя с тем, что у нас есть такой прекрасный ученый и замечательный человек и мы можем общаться с ним, любить его и учиться у него.

© 2011 г. С.М. Толстая

Славяноведение, № 6

К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА АНТОНОВИЧА ДЫБО

30 апреля 2011 г. Владимиру Антоновичу Дыбо исполнилось 80 лет. В научном пути любого выдающегося ученого возраст – показатель второстепенный. В случае нашего юбиляра – тем более: он сам, будучи, как всегда, всецело погружен в свои научные занятия – как и двадцать, тридцать, и, надо полагать, пятьдесят лет назад, – его не замечает. Как, впрочем, и многих других мелочей, занимающих обычных людей. И сегодня В.А. Дыбо по-прежнему находится в центре кипящей вокруг него научной жизни. Его научные достижения – объективный результат бескомпромиссного и самоотверженного труда, плоды которого пожинает уже не первое поколение лингвистов и – шире – целая наука. В общем, возраст в его случае – некая абстракция, никак не связанная с сутью дела... Что, однако, никоим образом не отменяет важности этого юбилея.

Таким образом, мы, ученики Владимира Антоновича, равно как и широкая научная общественность, сознаем символическую значимость этой более чем полувековой вехи в его научном пути. Тем более, что за это время в научных областях, интересующих нашего учителя, произошло немало прорывов, большинство из которых прямо связано с его открытиями и без которых была бы немыслима и наша сегодняшняя деятельность.

Юбилей одного из крупнейших языковедов нашего времени, имеет, что немаловажно, и международное значение. Его вклад в «мировую» акцентологию косвенно подтвердился, среди прочего, и тем, что приуроченная к его юбилею конференция – «VII Международный семинар по балто-славянской акцентологии (IWoBA 7)», – прошедшая в июле этого

года в Москве, собрала, в частности, много ученых из стран бывшей Югославии – языковой области, имеющей первостепенное значение для балто-славянской акцентологии. Таким образом, научная школа В.А. Дыбо, сформировавшаяся в Москве, привлекла к себе исследователей из разных стран и, тем самым, являясь «национальной по форме», стала во всем остальном истинно интернациональной.

Итак, современная балто-славянская акцентология обязана именно Владимиру Антоновичу своими важнейшими достижениями. Обрисуем вкратце главные этапы тернистого пути, пройденного этой дисциплиной, пережившей в последние десятилетия беспрецедентный взлет. Новая эра славянской акцентологии началась с публикации революционного труда Хр. Станга «*Slavonic Accentuation*» (Осло, 1957), который порвал с заблуждениями зашедшей к тому времени в тупик «классической акцентологии» начала XX в. Новый – парадигматический – подход впервые позволил обозреть целостно и систематически весь массив имеющихся данных, дотоле казавшихся беспорядочными и слабо мотивированными. Станг доказал генетическое тождество подвижной славянской и литовской акцентных парадигм (а.п. с и а.п. 3), тем самым отказав в правомерности так называемому закону Фортунатова, являвшему собой краеугольный камень «классической акцентологии».

Сразу осознав как фундаментальную важность труда Станга, так и изъяны его концепции, В.А. Дыбо начал большую работу, призванную, по его первоначальному замыслу, привести к реабилитации закона Фортунатова в славянском. Однако довольно быстро он обнаружил в системе определенные закономерности, из которых вытекали важные выводы: оказалось, что акцентные парадигмы *a* и *b* дополнительно распределены в зависимости от типа корня, что неожиданным образом сводило набор балто-славянских акцентных типов до двух парадигм: неподвижной и подвижной. Реконструкция балто-славянской системы, основанная на этом открытии В.А. Дыбо, была уточнена его другом В.М. Иллич-Свитычем в фундаментальном труде «Именная акцентуация в балтийском и славянском» (М., 1963). С тех пор закон, объясняющий происхождение а.п. *b*, известен как «закон Дыбо – Иллич-Свитыча». Этому открытию нашлось применение и в анализе кельто-италийского материала, проведенном В.А. Дыбо в 1961 г. и доказавшем, что эти же две парадигмы существовали в других индоевропейских языках.

Так родилась новая теория индоевропейского ударения. Главной чертой, отличавшей ее от прежних теорий, была применимость одного и того же *морфонологического* принципа ко всей системе в целом, так что материал, состоящий из крайне разнообразных отдельных фактов, подчинялся небольшому набору простых правил. Все словоформы праязыка теперь стали предствимы в виде цепочки морфем с акцентными свойствами («валентностями») одного из двух возможных типов, что исчерпывающе определяло поведение их ударения. Это позволило В.А. Дыбо приступить – впервые в истории языковедения – к реконструкции *целой акцентной системы праязыка* (в данном случае праславянского). К началу 1970-х годов В.А. Дыбо опубликовал большое число отдельных статей, по которым уже тогда можно было составить довольно полное представление о праславянской акцентной системе. Однако различные вненаучные обстоятельства препятствовали выходу в свет обобщающей монографии. Тем не менее, в итоге Владимиру Антоновичу удалось выпустить свою «Славянскую акцентологию» (М., 1981), фундаментальный труд, по сей день служащий точкой отсчета для большинства акцентологов.

Последовательная реконструкция балтийской акцентной системы и изучение общей акцентологической типологии привели к открытию *новой типологической разновидности* акцентных систем, ранее совершенно неизвестной – *морфонологизованных парадигматических акцентных систем*. Были описаны и проанализированы и другие системы этого типа, находящиеся на разных стадиях эволюции. Это привело к *тонологической гипотезе* их происхождения. Согласно этой гипотезе, возникновению таких систем предшествует состояние, при котором каждая морфема обладает «регистровым тоном». Сочетания разных морфем дают «акцентные кривые», а сами они постепенно теряют свой тон, который в итоге проявляется лишь как абстрактный признак, так называемая валентность. Система эволюционирует дальше к более продвинутым состояниям, при которых ударение становится все более и более «категориальным», т.е. определяется уже не акцентологическими, а иными факторами. Этот значительный прорыв в понимании акцентной эволюции языков, несомненно, является сегодня залогом дальнейшего развития акцентологии как отдельной дисциплины языковедения, диснее представлявшей собой лишь удел наиболее «дерзких» исследователей (каковым, конечно, является сам юбиляр).

Основав, вместе с В.М. Иллич-Свитычем (увы, погибшим в 1966 г.), «московскую акцентологическую школу», Владимир Антонович уже многие годы является в большой степени ее олицетворением. Его имя во всем мире знает каждый, кто знает слово «акцентология». Надо сказать, что акцентологической науке крайне повезло быть олицетворяемой именно В.А. Дыбо. Ведь, как известно, развитие любой научной школы начинается с объединения будущих ее представителей вокруг руководителя – с общения между людьми. А в этом первостепенную роль играют личные качества Наставника, умеющего вовлечь, увлечь, а своим собственным примером вдохновить и подвигнуть... Именно поэтому уже десятилетия вокруг Владимира Антоновича кипит научная жизнь. Многие, кто знаком с Владимиром Антоновичем, знают, что без этого знакомства не состоялся бы их научный путь. На фоне общего упадка, в котором находятся многие отрасли фундаментальной науки во всем мире, «московская» школа радуется своей живучестью. За школу В.А. Дыбо можно не волноваться: мы уверены, что те принципы – равноправия, бескорыстия, верности истине и науке, – которые он заложил своей деятельностью, руководством и просто личным присутствием, – гарантируют ее дальнейшее процветание.

Владимир Антонович привнес в акцентологию и принципиально новый для нее методологический аспект: в своих работах он исчерпывающе приводит весь доступный материал, касающийся обсуждаемого вопроса. Сбор и подача материала является при таком – надо сказать, единственно верном – подходе ничуть не менее серьезной научной задачей, чем разработка теоретических построений. В отличие от «классических» (да и многих нынешних) акцентологов, которые ограничиваются порой лишь списком «избранных» примеров, подтверждающих тот или иной тезис, В.А. Дыбо ничего не скрывает от читателя, а позволяет ему самостоятельно делать выводы, в том числе и на основании примеров, противоречащих выдвигаемой им концепции. При этом в научный обиход вносятся сплошные росписи большого числа древних рукописей и полные списки данных своих и чужих полевых исследований. Печальной практике подгонки материала под теорию (увы, свойственной слишком многим ученым) школа В.А. Дыбо противопоставляет обратную – когда именно материал ложится в основу всех теоретических выводов. Только так наука обогащается данными, которые на том или ином этапе могут даже кардинально изменить существующую теорию. Более того, для принятия вызова со стороны материала и изменения на его основании своих взглядов требуется незаурядная научная честность, какую Владимир Антонович неизменно демонстрирует в ходе всей своей деятельности. Это качество он старается прививать и своим ученикам.

Другая область знания, выживание которой было бы под вопросом, если бы не усилия Владимира Антоновича, – это ностратическое языкознание. В.М. Иллич-Свитыч, отец современной ностратики, проделал грандиозную работу по сбору данных из сотен языков для создания ностратической реконструкции и словаря. После его трагической кончины, помешавшей ему завершить дело своей жизни, В.А. Дыбо взял на себя миссию осуществления великого замысла друга. Результат – выход в свет (в 1971, 1976 и 1984 гг.) трех томов словаря под редакцией В.А. Дыбо. Благодаря этому обстоятельству, ностратическое языкознание стало строгой и плодотворной отраслью, объединившей немало специалистов мирового масштаба.

В заключение хочется еще раз отметить, что для многих акцентологов (авторы этого юбилейного поздравления входят в их число) все, что касается научной деятельности Владимира Антоновича, в немалой степени сопряжено – если можно так выразиться – с их (т.е. нашими) корыстными интересами. У Владимира Антоновича имеется масса научных планов: например, разработка ностратической акцентной реконструкции. В их осуществлении мы, естественно, будем, в меру сил, ему, как обычно, всецело содействовать (ведь его научные планы становятся и нашими). Однако и наши собственные научные планы, как правило более частные, неизменно подразумевают путееказующее участие юбиляра, без которого их претворение в жизнь часто весьма затруднительно.

Итак, мы желаем Владимиру Антоновичу дальнейших научных побед, а себе его дальнейшего руководства. С днем рождения, дорогой Владимир Антонович!

© 2011 г. М.В. Ослон, С.Л. Николаев, Мате Капович
Дирекция Института славяноведения РАН, коллеги, редколлегия и редакция журнала
«Славяноведение» присоединяются к поздравлению и желают чл.-корр. РАН Владимиру
Антоновичу Дыбо здоровья и новых научных достижений

ПАМЯТИ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНЫ ЧЕШКО
(1916–2011)

После тяжелой продолжительной болезни 12 февраля 2011 г. на девяносто пятом году жизни скончалась Елена Владимировна Чешко – старейший сотрудник Института славяноведения РАН (АН СССР). Она работала здесь с 1 октября 1947 г. до 30 июня 1986 г., пройдя путь от младшего научного сотрудника до старшего научного сотрудника-консультанта.

Е.В. Чешко родилась 30 декабря 1916 г. в Краснодаре. По окончании средней школы в 1935 г. поступила в Московский институт истории, философии и литературы им. Н.Г. Чернышевского, который с отличием окончила в 1940 г. В 1943–1946 гг. была аспиранткой кафедры русского языка МГУ. Здесь в июне 1947 г. она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Словообразование глаголов движения в современном русском языке».

Е.В. Чешко начала работать в Институте славяноведения в первый год его существования, когда в условиях необычайно возросшего в Советском Союзе в ходе и после Великой Отечественной войны интереса к судьбам зарубежного славянства только разрабатывалась научная программа комплексного изучения истории, литературы, культуры и языка зарубежных славянских народов. В том году в Институт было принято 25 сотрудников, которые сразу же включились в разработку намечаемых Институтом славистических исследований. Здесь Е.В. Чешко, русистка по университетскому образованию, обратилась к изучению болгарского языка и стала одним из видных и авторитетных лингвистов-болгароведов в нашей стране.

Вхождение Е.В. Чешко в болгарское языкознание началось с изучения болгарских говоров на территории СССР и подготовки атласа этих говоров, запланированного тогда в рамках лингвистической проблематики ученой деятельности Института. Сейчас даже представить себе трудно, что через два-три года после окончания тяжелейшей войны, в условиях послевоенной разрухи щедро финансируемая Академия наук СССР выделила вновь созданному Институту немалые средства для обеспечения им работы по изучению болгарских говоров в Приазовье и Бессарабии, где находилось (и сейчас находится) большое число сел потомков давних переселенцев болгар в Россию. Инициатором и руководителем этой масштабной для небольшого коллектива сотрудников Института работы был молодой тогда проф. С.Б. Бернштейн. Его надежной и незаменимой помощницей в этом деле сразу же стала Е.В. Чешко, проявившая себя как умелый и требовательный организатор практической работы на всех стадиях подготовки атласа. Важнейшим результатом ее работы в этой области было издание «Атласа болгарских говоров в СССР» (М., 1958) в соавторстве с С.Б. Бернштейном и Э.И. Зелениной. Построенный на основе новейших для того времени достижений и требований лингвистической географии с учетом своеобразных особенностей переселенческих говоров этот «Атлас» был первым в болгарской диалектологии опытом лингвистического картографирования, получившим высокую оценку в рецензиях ученых разных стран. Одновременно с работой над «Атласом» Е.В. Чешко занималась описанием говоров некоторых сел (см., в частности, ее статью «Из истории кайракийского говора», опубликованную в «Статьях и материалах по болгарской диалектологии», вып. 2, 1952). Естественным продолжением диалектологических исследований Е.В. Чешко стало ее участие в совместной болгарско-советской работе над атласом говоров Юго-Восточной Болгарии во второй половине 1950-х годов, открывшим фундаментальное четырехтомное издание болгарского диалектологического атласа (Български диалектен атлас. I. Югоизточна България. Съставен под ръководството на Ст. Стойков и

С.Б. Бернштейн. София, 1964). Здесь опубликованы 18 составленных ею карт на ряд фонетических и семантических явлений.

Параллельно с занятиями диалектологией Е.В. Чешко изучала и вопросы грамматики болгарского литературного языка. В центре внимания ее грамматических интересов – проблема падежей и падежных отношений в современном болгарском языке. Серией статей, посвященных анализу этой проблемы, она включилась в теоретическую дискуссию о месте и значении падежей в аналитической системе болгарского склонения (см. особенно ее статью «Падежи и предлоги в современном болгарском литературном языке» в книге «Вопросы грамматики болгарского литературного языка». М., 1959). Исследование современной аналитической системы выражения падежных отношений неизбежно поставило перед Е.В. Чешко вопрос о причинах, ее породивших. В 1970 г. вышла в свет ее монография «История болгарского склонения», в которой исследуется внутренняя эволюция древнеболгарской падежной системы на протяжении X–XIV вв. как истории синкретичных форм и изменения функций беспредложных падежей, приведших к перестройке системы склонения и утрате ряда падежей. В 1970 г. эта монография в Институте русского языка АН СССР была ею успешно защищена как докторская диссертация.

Ценным вкладом Е.В. Чешко в историю болгарского языка является подготовленная коллективом советских авторов под ее руководством к публикации и изданная в 1989 г. Болгарской академией наук «Норовская псалтырь – среднеболгарская рукопись XIV в.». В этом труде самой Е.В. Чешко подготовлен к печати текст рукописи с примечаниями и разночтениями по трем славянским псалтырям, дано филологическое описание рукописи и изложены принципы ее издания. К сожалению, остался не изданным готовый к печати указатель слов под ударением, составленный И.К. Буниной.

Е.В. Чешко продолжала работать и после ухода на пенсию пока ей позволяло здоровье. Одна из последних ее работ опубликована в 2000 г. Это небольшая статья «К 40-летию выхода в свет “Атласа болгарских говоров в СССР”» (в книге «Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1994–1996». М., 2000), которая особенно ценна тем, что в ней приведен ранее нигде не публиковавшийся текст составленной в 1947 г. С.Б. Бернштейном программы по собиранию материалов для атласа болгарских говоров в СССР, той самой программы, на руках с которой Е.В. Чешко более 60 лет назад начала изучать живой болгарский язык.

В течение многих лет Е.В. Чешко вела в Институте большую научно-организационную работу. В разные годы она была ученым секретарем сектора славянского языкознания, членом ученого совета Института, членом редколлегии его серийных изданий «Краткие сообщения» и «Статьи и материалы по болгарской диалектологии». У нее были аспиранты, успешно защитившие кандидатские диссертации, впоследствии видные ученые и университетские преподаватели, в их числе и профессор Софийского университета Румяна Павлова, лишь на несколько месяцев пережившая своего учителя (она скончалась 29 июня 2011 г.). Е.В. Чешко была участницей многих славистических и болгаристических съездов и конференций, выступала официальным оппонентом по кандидатским и докторским диссертациям.

Как болгарист Е.В. Чешко многократно бывала в Болгарии в научных командировках. Она любила эту страну. Со многими болгарскими коллегами – диалектологами, грамматистами, историками языка – у нее сложились теплые, дружеские отношения. Ее болгаристические исследования были широко известны в научных кругах страны. Болгарские лингвистические издания охотно печатали ее труды. За вклад в развитие болгарского языкознания Е.В. Чешко была награждена орденом Кирилла и Мефодия (III ст).

Похоронили Елену Владимировну Чешко в морозный день 14 февраля 2011 г. на Николе-Архангельском кладбище под самой Москвой.

© 2011 г. Г.К. Венедиктов

ПАМЯТИ МАРИНЫ ЮРЬЕВНЫ ДОСТАЛЬ
(1947–2011)

16 июня 2011 г. скоропостижно скончалась Марина Юрьевна Досталь, известный специалист по истории славистики. Она родилась 28 апреля 1947 г. в Москве в семье военнослужащего. В 1965 г. окончила с серебряной медалью московскую школу № 160 и в этом же году поступила на истфак МГУ, где специализировалась по истории западных славян. В июне 1968 г. она проходила учебную практику в Польше, с октября 1969 г. по июнь 1970 г. стажировалась в ЧССР. В 1970 г. Досталь завершила учебу в университете, получив диплом с отличием. В том же году Марина Юрьевна стала аспиранткой Института славяноведения Академии наук СССР, а 15 ноября 1973 г. была принята в качестве младшего научного сотрудника в сектор Новой истории стран Центральной Европы. Именно с этим институтом связана вся ее судьба в науке.

В 1977 г. Досталь защитила кандидатскую диссертацию «И.И. Срезневский и его роль в развитии русско-чешских научных и культурных связей в 40–70-е гг. XIX в.». Уже в самом выборе темы диссертации проявился ее интерес к истории русского славяноведения, которому она оставалась верной всю жизнь. В 2003 г. на основании своей диссертации с привлечением массы новых архивных материалов Досталь издала монографию «И.И. Срезневский и его связи с чехами и словаками». Помимо этого фундаментального исследования Марина Юрьевна опубликовала еще несколько трудов по указанной тематике, среди них «Встреча с Европой. Письма В.А. Панова к матери М.А. Пановой из Центральной и Юго-Восточной Европы (1841–1843)» (Братислава, 1996 г.; в соавторстве со словацким историком Т. Ивантышиновой) и «Зигзаги памяти» (М., 2002 г., в соавторстве с российским ученым А.Н. Горяиновым), в которой авторы представили мемуары выдающегося советского лингвиста С.Б. Бернштейна с обширными комментариями.

Помимо монографии о И.И. Срезневском Марина Юрьевна издала еще две книги по истории российского славяноведения: «Становление славистики в Московском университете в свете архивных находок» (М., 2005) и «Как Феникс из пепла... Отечественное славяноведение в период Второй мировой войны и первые послевоенные годы» (М., 2009). Последняя монография должна была стать основой для защиты ее докторской диссертации, которая предполагалась осенью 2011 г.

Помимо упомянутых капитальных исследований Марина Юрьевна написала ряд очерков, посвященных славистам из русской эмиграции: Е.Ю. Перфецком, Н.П. Кондакове, Г.В. Флоровском, И. Поливке, Е.Ф. Шмурло и др.; а также о Русском свободном университете в годы Второй мировой войны.

Вторая тема, которой Марина Юрьевна уделяла пристальное внимание – «История славянской идеологии в XIX–XX вв.». Начиная с 1993 г. она являлась организатором конференций, посвященных этой теме. Результаты конференций были опубликованы в четырех сборниках, редактором которых она была. Помимо этого в 2000–2005 гг. Марина Юрьевна совместно с В.Д. Малюгиным и И.В. Чуркиной издала пять «Русско-славянских календарей» на 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 г., в которых освещались исторические события, вопросы филологии, этнографии, культуры, современной политики в славянских странах.

Для М.Ю. Досталь был характерен живой интерес к различным сторонам истории и культуры славян. И это проявлялось в ее активном участии в многочисленных конференциях, проходивших в различных городах России и зарубежья. Она занималась проблемами украинистики и белорусистики, историей и современным положением русинов, русско-чешскими и русско-словацкими научными связями.

Все работы Марины Юрьевны базируются на значительном количестве источников, впервые введенных ею в научный оборот. Их отличает широта тематики, глубина научного анализа.

М.Ю. Досталь вела большую научно-организационную работу. С 1985 г. она являлась ученым секретарем сначала сектора историографических и источниковедческих проблем

славяноведения, затем центра «Россия и славянские народы в истории науки и общественной мысли» Института славяноведения РАН.

Много сил Марина Юрьевна вложила в деятельность Комиссии историков России и Словакии, бессменным ученым секретарем российской части которой она была с начала ее образования в 2004 г. Она была одним из организаторов совместных российско-словацких конференций историков «Россия и Словакия на завершающем этапе Второй мировой войны и в первые послевоенные годы. Проблемы конфессиональной политики» (2005); «Русские и словаки в XIX–XX вв. Контакты, взаимовлияния. Стереотипы» (2007); «Словаки и русские: проблема Восток – Запад» (2010).

За успешную деятельность в области исторической науки в августе 2006 г. она была награждена Почетной грамотой Российской академии наук и профсоюза работников Российской академии наук, а в декабре 2008 г. первой получила премию Рязанской области имени акад. И.И. Срезневского. Ее заслуги высоко оценили и зарубежные коллеги.

В памяти знавших ее Марина Юрьевна навсегда останется как преданный науке серьезный ученый с широким диапазоном интересов, как человек высоких моральных качеств: честности, преданности долгу, большой ответственности перед порученным делом и отдельными людьми, готовый всегда прийти на помощь коллегам, как человек редкого трудолюбия и доброты.

*Коллеги Института славяноведения РАН
Института истории АН Чешской Республики
Института истории Словацкой академии наук
Редколлегия и редакция журнала «Славяноведение»*

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ В 2011 году

СТАТЬИ

Агапкина Т.А. Символика и обрядовые функции танца и хоровода в традиционной культуре славян. С. 56–70.....	№ 2
Агапкина Т.А., Белова О.В. Пасхальные яйца в обрядности и фольклоре славян. С. 43–52.....	№ 6
Адашинская А.А. К интерпретации последнего чуда из феодосиевого жития св. Саввы. С. 3–15.....	№ 4
Афанасьева Т.И. Служба «на бездождие» в славянских служебниках и требниках XI–XVI веков. С. 36–45.....	№ 2
Белов М.В. Славянская тема в путевом дневнике П. И. Кеппена: от сентиментализма к романтической этнографии. С. 95–104.....	№ 1
Валева Е.Л., Волокитина Т.В. Советский фактор в годы Второй мировой войны в Болгарии: дискуссионные вопросы болгарской историографии. С. 16–32.....	№ 3
Валенцова М.М. Узел в традиционной культуре славян. С. 53–59.....	№ 6
Вин Ю.Я. Некоторые спорные проблемы изучения крестьянской антропоники византийских актов XIII–XV веков. С. 54–64.....	№ 4
Виноградова Л.Н. «Родила Оленька ребенка, без рук, без ног – одна головенка»: Яйцо в славянской мифологии и магии. С. 34–42.....	№ 6
Волобуев В.В. Проблема рабочего самоуправления в общественно-политической системе ПНР и рабочие выступления в 1956–1980 годы. С. 26–39.....	№ 5
Герасимова И.В. Проблема научной достоверности публикаций документов Разрядного приказа о Вильне под властью русских воевод (1655–1661) в XIX веке. С. 16–27.....	№ 4
Глушковский П. Фаддей Булгарин в мире идентичностей Российской империи. С. 46–55.....	№ 2
Забелина Н.Ю. Сербь глазами британцев в годы Первой мировой войны. С. 53–63.....	№ 1
Искендеров П.А. История Косова: межэтнические аспекты. С. 18–28.....	№ 1
Ким И.К. Санационные власти в парламентских выборах 1935 года в Польше. С. 3–13.....	№ 5
Колосова В.Б. Этноботанические заметки V. Аконит. С. 65–74.....	№ 4
Косик В.И. Национализм и его вариации в маршах эпохи (младороссы). С. 28–36.....	№ 4
Кочегаров К.А. Отношения Запорожской Сечи с Речью Посполитой, Портой и Крымом в последние годы жизни кошевого атамана Ивана Серко. С. 3–18.....	№ 2
Крашенинникова Ю.А. Из наблюдений над символикой цвета в русских свадебных приговорах. С. 71–77.....	№ 2
Лескинэн М.В. Этнокультурная и лингвистическая классификации народов в период формирования этнографической науки в России (XVIII–XIX вв.). Теоретический аспект. С. 43–53.....	№ 4
Лещиловская И.И. Литературный процесс в Хорватии и Славонии в XVIII веке. С. 79–94.....	№ 1
Майорова О.Н. Августовские соглашения 1980 года в Польше: 30 лет спустя. С. 40–51.....	№ 5
Макарова И.Ф. К вопросу о целях болгарского церковного движения (после 1856 года). С. 29–40.....	№ 1
Марьина В.В. СССР периода Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в словацкой историографии последнего двадцатилетия. С. 64–78.....	№ 1
Марьина В.В. СССР периода Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в чешской историографии последнего двадцатилетия. С. 3–15.....	№ 3
Международная научная конференция «Литературный фактор в культурном пространстве Центральной и Юго-Восточной Европы на рубеже XX–XXI вв.». С. 60–77.....	№ 6
Михутина И.В. Польско-украинский союз 1920 года. С. 14–25.....	№ 5
Николаев С.Л. Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. Верхневолжские (тверские) кривичи. С. 3–19.....	№ 6
Пчелов Е.В. «Погоня» и «ездец»: «родство» или сходство?: Балто-славянские параллели в эмблематике Средневековья. С. 20–33.....	№ 6
Романенко С.А. Австро-Венгрия и Балканы глазами теоретиков российских социалистов накануне Первой мировой войны. С. 41–52.....	№ 1

Романенко С.А. Южные славяне Австро-Венгрии и судьба монархии Габсбургов в современной историографии Хорватии и Боснии и Герцеговины. С. 33–45.....	№ 3
Сазонова Л.И. К истории создания «Рифмологиона» Симеона Полоцкого. С. 19–35.....	№ 2
Старикова Н.Н. Исторический роман в словенской литературе конца XX – начала XXI века. Между «массовым» и «элитарным». С. 62–68.....	№ 3
Стычкин А.С. Польский кризис 1980–1981 годов и позиция руководства Венгрии. Опыт событий 1956 года в 25-летней ретроспективе. С. 52–67.....	№ 5
Тимофеев А. СССР и движение Сопротивления генерала Д. Михайловича в годы Второй мировой войны в Югославии. С. 46–61.....	№ 3
Филатова Н.М. Польские литераторы об Александре I. С. 3–17.....	№ 1
Хорев В.А. «Тарас Бульба» в Польше. С. 37–42.....	№ 4
Хорев В.А. Литература и политическая борьба в Польше (1980–1981). С. 68–81.....	№ 5

СООБЩЕНИЯ

Ващенко М.С. Проблема авторства монографии «Хорваты и борьба их с Австрией»: к вопросу о пропаганде хорватской национальной идеи в России. С. 69–76.....	№ 3
Досталь М.Ю. О вкладе профессора Людмилы Павловны Лаптевой в отечественное славяноведение (к 85-летию юбилею). С. 75–82.....	№ 4
Материалы конференции «Концепт вещи в славянской культуре». С. 83–89.....	№ 3
Досталь М.Ю. О вкладе Самуила Борисовича Бернштейна в развитие истории славяноведения (К столетию со дня рождения ученого). С. 78–83.....	№ 6
Митрофанов В.В. Изыскания С.Ф. Платонова по истории возникновения русских городов. С. 77–82.....	№ 3
Сухова Н.Ю. Радослав Радич и Московская духовная академия. С. 105–111.....	№ 1
Хорев В.А. (Москва). Заметки на полях книги Марека Радзивона «Ивашкевич. Писатель после катастрофы». С. 84–92.....	№ 6

ИЗ ИСТОРИИ СЛАВИСТИКИ

Никифорова О.А. Образовательная и политическая деятельность А.С. Будиловича в Царстве Польском (1881–1892 гг.). С. 90–97.....	№ 3
Робинсон М.А. «Заявление профессора Н.Н. Дурново». С. 86–100.....	№ 2
Стыкалин А.С. Юрий Крижанич. Взгляд со Старой площади (декабрь 1954 года). С. 101–106.....	№ 2
Чуркина И.В. Словенские историки послевоенного периода. С. 93–97.....	№ 6
Шевчук И.И. Минский период в жизни Н.Н. Дурново. С. 78–85.....	№ 2

ПУБЛИКАЦИИ

Вычеров В.В. Польский дневник. 1981–1983 (фрагменты). С. 82–107.....	№ 5
--	-----

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Анисимова Д.Ю. Slovník súčasného slovenského jazyka. I zväzok. С. 110–112.....	№ 2
Виноградов В.Н. Е.П. Кудрявцева. Русские на Босфоре. Российское посольство в Константинополе в первой половине XIX века. С. 98–101.....	№ 3
Вирк Т. Словенская литература от истоков до рубежа XIX–XX веков. С. 107–109.....	№ 4
Вовк М. И.С. Яжборовская. Глобализация и опыт трансформации в странах Центрально-Юго-Восточной Европы. С. 117–119.....	№ 5
Гаврюшина Л.К. Р. Станкова. Србската книжнина през XIII в. (контекст и текст). С. 107–109.....	№ 2
Деньщикова А.В. IX. sjezd českých historiků. Pardubice 6.–8. září 2006. Sv. III. С. 105–109.....	№ 3
Дубовик О.А. Р. Радев. Българската эротика. Енциклопедия. Т. 1, 2. С. 119–120.....	№ 5
Задорожник Э.Г. Новейшие книги по ключевым событиям чехословацкой истории второй половины XX века (тематический обзор). С. 116–123.....	№ 1

Карнаухов Д.В. Проблемы истории Польши и российско-польских отношений на страницах исторического альманаха. С. 113–114.....	№ 5
Кисилькова Н. Cesty na východ. Češi v korespondenci M.F. Rajevského. С. 90–91.....	№ 4
Косик В.И. «Погасло дневное светило...» Руската литературна емиграция в България 1919–1944. С. 91–95.....	№ 4
Косик В.И. И. Ф. Макарова. Болгары и Танзимат. С. 87–89.....	№ 4
Косик В.И. Из Югославии в СССР, или Непридуманные истории из жизни одного поколения. С. 116.....	№ 3
Крети́нин С.В. U Schmidt Bessarabien. Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer. С. 102–106.....	№ 4
Лескинен М.В. И.Ю. Заринов. Поляки в диаспоре. Сравнительная характеристика этнической истории польских диаспор в России, США и Бразилии. С.95–98.....	№ 4
Макарова И.Ф. А.А. Пригарин. Русские старообрядцы на Дунае: формирование этноконфессиональной общности в конце XVIII – первой половине XIX в. С. 98–99.....	№ 6
Малеви́ч О.М. P. Janoušek a kol. Dějiny české literatury 1945–1989. T. I–IV. С. 109–115.....	№ 3
Петровская О.В. Революционная Россия 1917 года и польский вопрос: Новые источники, новые взгляды. С. 112–116.....	№ 1
Стобецкий Р. Г. Матвеев. Пилсудский. С. 102–104.....	№ 3
Стыкалин А.С. Т.М. Исламов, Т.А. Покивайлова. Восточная Европа в силовом поле великих держав. Трансильванский вопрос. 1940–1946 годы. С. 108–112.....	№ 5
Ченцова В.Г. В.И. Bojović. Chilandar et les pays roumains (XV ^e –XVII ^e siècle). Les actes des princes roumains des archives de Chilandar (Mont Athos). (=Textes, documents, études sur le monde byzantin, néohellénique et balkanique. Vol.10). С.83–86.....	№ 4
Шерлаимова С.А. J. Brabec Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portrety (1991–2008). С. 100–103.....	№ 6
Ямбаев М.Л. Imagines mundi: Альманах исследований всеобщей истории XV–XX вв. С. 98–102.....	№ 4

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Акимова О.А. XXV конференция «Славяне и их соседи». С. 110–112.....	№ 4
Гришина Р.П. «Модернизация vs. война: человек на Балканах накануне и во время Балканских войн 1912–1913 гг.». С. 104–110.....	№ 6
Досталь М.Ю. Третье заседание Комиссии историков России и Словакии в 2010 году. С. 116–118.....	№ 4
Зеленин А. XVIII съезд скандинавских славистов. С. 122–123.....	№ 3
Михальченко С.И., Шинаков Е.А., Досталь М.Ю. Международная научная конференция «Русское наследие в странах Восточной и Центральной Европы». С. 113–115.....	№ 4
Пономарева Н.Н., Смольянинова М.Г. Презентация книги «Болгария и Россия (XVIII–XX вв.): взаимопознание». С. 110–112.....	№ 6
Семенова А.В. Конференция «Концепт вещи в славянской культуре». С. 119–121.....	№ 3
Тематика XV Международного съезда славистов. С.113–115.....	№ 2
Шведова Н.В. Круглый стол «Русский (советский) солдат в литературном и народном творчестве западных и южных славян периода Второй мировой войны и послевоенных лет». С. 117–119.....	№ 3

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Таирова-Яковлева Т.Г. С. 116–119.....	№ 2
---------------------------------------	-----

ЮБИЛЕИ

Попова Т.В. К юбилею Людмилы Эдуардовны Калнынь. С. 119–121.....	№ 4
Сухачев Н.Л. К юбилею Онуфрие Винцелера. С. 122–123.....	№ 2
Толстая С.М. К юбилею Людмилы Александровны Софроновой. Похвальное слово. С. 120–121.....	№ 2
Толстая С.М. К юбилею Людмилы Николаевны Виноградовой. С. 114–116.....	№ 6

К юбилею Григория Львовича Арша. С. 124–125.....	№ 1
К юбилею Татьяны Андреевны Покивайловой. С. 123–124.....	№ 5
К юбилею Анны Леонидовны Хорошкевич. С. 121–122.....	№ 5
К юбилею Искры Васильевны Чуркиной. С. 113–114.....	№ 6

НЕКРОЛОГИ

Будагова Л.Н. Памяти Юрия Васильевича Богданова (1932–2010). С. 124–125.....	№ 3
Венедиктов Г.К. Памяти Елены Владимировны Чешко (1916–2011). С. 119–120.....	№ 6
Досталь М.Ю., Чуркина И.В. Памяти словацкого историка Владимира Матулы (1928–2011). С. 125–126.....	№ 5
Злынева Н.В. Памяти Александра Флакера (1924–2010). С. 126.....	№ 3
Калнынь Л.Э. Памяти Майи Ивановны Ермаковой. С. 122–123.....	№ 4
Серапионова Е.П. Памяти Ивана Петровича Савицкого. С. 124–126.....	№ 4
Софронов М.В. Памяти Татьяны Николаевны Молошной. С. 126.....	№ 2
Толстая С.М. Памяти академика Милки Ивич (1923–2011). С. 126–127.....	№ 5
Памяти Виктора Петровича Грачева. С. 126–127.....	№ 1
Памяти Марины Юрьевны Досталь (1947–2011). С. 121–122.....	№ 6
Памяти Лидии Егоровны Семёновой. С. 124–126.....	№ 2
Памяти Ильи Георгиевича Яну. С. 126.....	№ 4

CONTENTS

ARTICLES

<i>Nikolaev S.L.</i> (Moscow). Traces of specific East-Slavic tribal dialects in modern Great-Russian regional vernaculars: The Upper-Volga (Tver') Krivichi.	3
<i>Pchelov E.V.</i> (Moscow). «Pogonia» and «ezdets»: kinship or similarity? Balto-Slavic parallels in the medieval emblematic	20
<i>Vinogradova L.N.</i> (Moscow). «Olen'ka gave birth to a child: no arms, no legs, just a head»: Egg in the Slavic mythology and magic.....	34
<i>Agapkina T.A., Belova O.V.</i> (Moscow). Easter eggs in the rituals and folklore of the Slavs.....	43
<i>Valentsova M.M.</i> (Moscow). Knot in the traditional culture of the Slavs.....	53
The International Conference «Literature factor on the cultural landscape of Central and South-Eastern Europe at the turn of the XX–XXI centuries»	60

COMMUNICATION

Dostal' M.Yu. (Moscow). On the contribution of Samuil Borisovich Bernstein to the development of modern history of Slavic studies (To the centennial jubilee of the scholar).....	78
<i>Khorev V.A.</i> (Moscow). Notes on the margins of Marek Radzivon's book «Ивашкевич. Писатель после катастрофы».....	84

FROM THE SLAVIC STUDIES HISTORY

<i>Churkina I.V.</i> (Moscow). Slovenian historians of the post-war period.....	93
---	----

REVIEW-ARTICLES AND REVIEWS

<i>Makarova I.F. A.A.</i> Пригарин. Русские старообрядцы на Дунае: формирование этноконфессиональной общности в конце XVIII – первой половине XIX в.	98
<i>Sherlaimova S.A.</i> J. Brabec Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portrety (1991–2008).....	100

SCHOLARLY LIFE

<i>Grishina R.P.</i> Modernisation vs. war: a man in the Balkans on the eve and during the Balkan Wars of 1912–1913.....	104
<i>Ponomariova N.N., Smol'ianinova M.G.</i> Presentation of the book «Болгария и Россия (XVIII–XX вв.): взаимопознание».....	110

ANNIVERSARIES

To the jubilee of Iskra Vasil'evna Churkina.....	113
<i>Tolstaya S.M.</i> To the jubilee of Lyudmila Nikolaevna Vinogradova	114
<i>Oslon M.V., Nikolaev S.L., Kapovich Mate</i> To the jubilee of Vladimir Antonovich Dybo.....	116

OBITUARIES

<i>Venediktov G.K.</i> In memoriam of Yelena Vladimirovna Cheshko (1916–2011)	119
In memoriam of Marina Yur'evna Dostal' (1947–2011)	121
Index of the articles and materials published in the journal in 2011	123

Сдано в набор 02.08.2011 Подписано в печать 27.09.2011 Формат бумаги 70 × 100¹/₁₆
Цифровая печать. Усл.печ.л. 10,4 Усл.кр.-отг. 3,3 тыс. Уч.-изд.л. 12,0 Бум.л. 4,0
Тираж 306 экз. Зак. 1795

Учредители: Российская академия наук, Институт славяноведения РАН

Издатель: Российская академия наук. Издательство «Наука», 117997 Москва, Профсоюзная ул., 90

Адрес редакции: 119991, Москва, Ленинский проспект, 32а. Телефон 938-01-20

E-mail: zhurslav@mail.ru

Оригинал-макет подготовлен АИЦ «Наука» РАН

Отпечатано в ППП «Типография “Наука”», 121099, Москва, Шубинский пер., 6

